

Петр Немировский

ПО НЬЮ-ЙОРКСКОМУ ВРЕМЕНИ

Роман

*Что сказать о людях, еще живых, но уже сошедших с земного
поприща, зачем возвращаться к ним?*

Тургенев, «Дворянское гнездо»

*Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут, и знание упразднится.*

Послание св. апостола Павла

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Таможенник раскрыл поданный ему паспорт.

– Уезжаем, значит, в Амэрику? Золото? Брильянты? Оружие? – спросил он и взглянул, сравнивая прилизанного парня на маленькой фотокарточке с этим – долговязым, взлохмаченным, в джинсовом костюме. Темные круги у него под глазами, щетина на впалых щеках. Видать, с перепоя.

– Оружие? Наркотики?

В ответ Михаил пожал плечами. Голова его раскалывалась. Сейчас впору бы смотреть не моргая, отвечать складно и четко, с серьезной миной. Но его губы вдруг изогнулись в улыбке. Михаил всегда улыбался в такие минуты, когда нужно бы сурово молчать. Но предательская дурацкая улыбка появлялась сама собой. Вот и сейчас, когда через минуту он пересечет черту на бетонном полу и сразу станет эмигрантом, он улыбался. Хотя по спине пробежала дрожь.

– Вот ваш паспорт.

Спрятав паспорт в карман, Михаил сделал пару шагов. Свободно вздохнул. Оглянулся – чтобы запомнить всех, кто стайкой стоял за ограждением: Стас, Витька, Охрим. И две незнакомые девки, вчера Витька их привел поздно вечером, когда воздух за окном стал черным и водку уже не закусывали. Михаил помахал им рукой. Витька ему подмигнул, Охрим стал яростно, с остервенением крутить ус, девушки что-то прокричали. Но вдруг взревели турбины – взлетал самолет, заглушая голоса.

Все. Пора.

– Гудбай! – крикнул Михаил. Повернулся и пошел, сунув руки в карманы джинсовой куртки. Походочка у него легкая, пружинистая. И выправка гвардейская. И годиков ему – тридцать два.

В баре, осушив рюмку коньяка, он, наконец, расслабился. Откинулся на спинку стула, по привычке взлохматил густые темно-русые волосы. Прикрыл глаза и так, неподвижно, сидел, пока горло не отпустил спазм, и слезы на длинных ресницах не высохли.

.....

В динамиках затрещало. Мужской голос сообщал: «Приближаемся к аэропорту Кеннеди. В Нью-Йорке – плюс тридцать. Влажность – восемьдесят процентов». По салону пошли стюардессы, проверяя, пристегнуты ли ремни.

– Видите красный огонек? – спросил у Михаила сидящий рядом мужчина. – Это – факел в руке Статуи Свободы. Вот оно, счастье...

xxx

В аэропорту его встречал дядя Гриша. Он стоял в конце длинного коридора, по которому Михаил катил тележку с двумя огромными сумками.

– Мишка! Племяш!

За семь лет дядя Гриша, в общем-то, мало изменился. Он из той породы, что не поддается ни времени, ни пространству. Низенький, хорошо сложенный, с копной жестких волос. Смуглый, просто бронзовый, за что в Бершади его прозвали Эфиопом.

– На таможне обошлось без пьключений? Все о`кей?

Голос у дяди Гриши слегка огрубел, но все такой же бархатистый. Говорит он, как и прежде – нараспев, с сильным акцентом идиш; «р» порой превращается в «й», словно скачет по гладким камешкам. Михаил любил эту речь, в ней звучали теплые летние ночи над уснувшим местечком. Э-эх, ночи-ноченьки над южным еврейским местечком...

– А ты возмужал. Сколько лет мы с тобой не виделись? Бог ты мой, как время-то летит... Ну пошли, а то дома водка замеизнет, – дядя Гриша улыбнулся, открыв потемневшие зубы и золотые коронки.

Асфальт, нагретый за день, остывал, отдавая тепло душному, загазованному воздуху. На стоянке диспетчер руководил погрузкой пассажиров. Подъезжали желтые кэбы.

– Бруклин, – пропел дядя Гриша адрес, когда они вдвоем плюхнулись на заднее сиденье. И с его идишским акцентом да на американский манер прозвучало «Бьюклин».

Машина покатила по трассе, за окнами замелькали бензозаправки, жиденькие перелески.

– А зачем здесь стекло? – спросил Михаил, указывая на толстую стеклянную перегородку между водителем и пассажирами.

– Стекло пуленепробиваемое. На случай, если водителя захотят прихлопнуть. Но эти стекла никуда не годятся, лопаются от одного выстрела, – дядя Гриша закурил, выпустил струйку дыма в приоткрытое окошко. Важно помолчав, добавил. – Это, племяш, Амейика.

А где же небоскребы? Нью-Йорк представлялся Михаилу ярким грохочущим пеклом. А машина въехала в плоский полутемный Бруклин, где один к другому жались невысокие домишки. Изредка

попадались освещенные пяточки, и тогда Михаил замечал манекены в витринах, прилавки с выложенными на них овощами и фруктами и вдоль тротуаров – горы черных мешков с мусором.

XXX

Сидели за столом втроем – Михаил, дядя Гриша и его жена Ева. Красная икорка поблескивала яркими зернышками, хвост скумбрии торчал из селедочницы, на стекле «Столичной» оттаивал иней.

Михаил, уже после душа, по-домашнему в спортивных штанах и футболке, распаренный, потягивал минеральную воду. Наконец-то он нащупывал хоть какую-то почву. Последние недели перед отъездом все перевернулось и завертелось в его жизни: билеты, визы, ОВИР, ЖЭК. Бесконечные взятки. Пьянки. Как мог, он все же старался держать себя в руках. Умудрялся даже ходить на занятия английским. Частная преподавательница Лена слушала, как он читает про семью какого-то мистера Брауна и о том, в каком прекрасном доме тот мистер Браун живет. «Китчен. Дайнинг-рум. Бед-рум». Михаил читал, следил за произношением, завидуя этому благополучному парню, мистеру Брауну, у которого и семья, и собака, и дом.

А вот у него – все вверх тормашками. Уезжает в неизвестность. Мир детства, юности, всегда казавшийся таким прочным, незыблемым, вмиг развалился. Михаил чувствовал себя чужим в родном городе. Одинок бродил по улицам, без конца курил, до тошноты ел мороженое и желал одного – чтобы проклятое время бежало быстрее. И до последнего дня опасался, что тот мерзавец пойдет к следователю и подаст иск...

И вот теперь возникла хоть какая-то определенность. Таможня беспрепятственно пропустила. Самолет, слава Богу, не шлепнулся. Страхи позади. Он – в Нью-Йорке. Сидит за столом у родственников, слышит знакомые голоса. Неужели все это – не сон?!

– А ты молодец, что уехал. Мы всегда там были чужими. Амейика – классная страна. Во – страна! – дядя Гриша отогнул из кулака большой палец. Он уже слегка осоловел. – Ты кто по специальности?

– Инженер.

– Ах да, ты же закончил Политехнический... – как-то безнадежно протянул дядя Гриша.

– Кому здесь нужны инженеры? Пусть сразу идет на вэлфер, – вмешалась Ева. Она опасалась, что племянник – лентяй, приехал и сядет им на шею, потом возись с ним.

– Конечно, первым делом на вэлфер. Будешь, Михась, получать пособие по безработице и нелегально малярничать со мной. Заживешь, как у Хйиста за пазухой.

– Может, он хочет стать программистом? Ты не дави на него, а то потом останешься виноватым, – сказала Ева.

Дядя Гриша отрицательно покачал головой:

– Пусть сначала заработает тысяч десять, осмотрится, а потом идет, куда захочет. У нас теперь, видишь ли, все русские, оц тоц первертоц, стали программистами. Борика, мужа моей Алки, помнишь? Ах, да, ты же у них на свадьбе был свидетелем. Так вот, Борик закончил курсы и теперь программист. А когда-то его за «двойки» вышвырнули из нашего бершадского хедера. Недавно они купили дом в Нью-Джерси, завели собаку. Живут по-амейикански. Повезут тебя в

пятницу к себе, сам все увидишь. Эх, забрали у меня внуков... – дядя Гриша вдруг погрузился. Покрутил в руке пустую рюмку. Загадочно улыбнулся. – Прочел недавно в газете, что «Столичная» по потреблению на втором месте в мире после «Смирнофф». Спрашивается: почему не на первом? Вроде пьем ее, пьем... Племянш, где твоя рюмка?

Звякнул хрусталь рюмок, хрустнули малосольные огурчики.

– А как поживают твои в Израиле? – спросила Ева

– Нормально. Мать подрабатывает уборками, сестра – клерк в банке, отец занимается ремонтами.

– Это твоя мама и сестра виноваты, не терпелось им. Подождали бы еще немного – и получили бы от нас вызов, тоже уехали бы в Америку. А ты почему тогда с ними не уехал?

– Сам не знаю, – он пожал плечами. – Мне тогда и в Киеве было неплохо.

– И правильно сделал, что не поехал в Израиль, – одобрил дядя Гриша. – Израиль, конечно, наша историческая родина, но лучше всего эту родину любить, живя в Америке.

xxx

В спальне горела настольная лампа. На стене, над кроватью, два толстопузых ангелочка держали красный бант.

Михаил разделся и, выключив лампу, рухнул на кровать. Голова слегка кружилась. Он попытался хоть как-то упорядочить все услышанное и пережитое за день.

Вот – дядя Гриша, брат отца. Маленький, уставший. Отец называл его то «золотой пчелкой», то «эфиопской клячей». Потому что дядя Гриша когда-то пытался стать ювелиром, повадился носить домой перекупленное у воров золото и едва не загремел в тюрьму. Тогда отец Михаила – по праву старшего брата – увел младшего с «золотых приисков» и обучил его малярному делу. Из «золотой пчелки» дядя Гриша превратился в «эфиопскую клячу». Тащил воз, на котором сидели: двухсотпудовая Ева, дочка, зять и внук. Вот и теперь, судя по замученному виду, тащит. И не ропщет. Бьюклинская кляча.

Они – дядя Гриша, отец, Михаил – все из одного корня. И лица у них чем-то похожи, и темно-карие глаза похожи, и голоса. Они – из клана Чужиных, и основатель их клана – дед Самуил. Он погиб в тридцать девятом году в Кемеровской области. Остановка поезда у поселка, за которым находился лагерь, и по сей день называется «517-й километр».

Михаил повернулся на бок, сладко зевнул. Спать будет до третьих петухов... И поплыл куда-то. Нет, не в Киев, а почему-то в Бершадь, в местечко под кудрявыми липами.

Там, у забора, на деревянном ящике сидел старик с белой окладистой бородой, в латанном-перелатанном пиджаке. Важно сопел и, поднимая вверх скрюченный указательный палец, спрашивал у прохожих: «Вы знаете, что в Израиле инфляция?»

Приезжая в Бершадь, Михаил сразу замечал, что у него, коренного киевлянина, вдруг появляется едва заметный акцентик идиш. И он уже не говорит, а как бы поет, и даже картавинка легкая проскальзывает.

В доме дяди Гриши на столах сушилась домашняя лапша, а над нею летали мухи. В шкафу поблескивали корешками «Граф Монте-Кристо» и «Милый друг». Михаил был первым, кто однажды достал эти книжки и от нечего делать перечитал. К большому удивлению, если не к ужасу хозяев дома. Ева даже сбегала за соседкой и, подведя ее к приоткрытой двери, прошептала: «Видишь, он чита-ает...»

По вечерам, после всебершадского променада по главной улице, где в центре стоял памятник Ленину, а по сторонам – спиртзавод и валютный магазин, семья собиралась во дворе, в беседке. Судачили о разном, спорили о политике. Дядя Гриша костерил власть и ратовал за мелкий частный бизнес. Говорил, что уедет, как только «поднимут железный занавес». Пили спирт. Под хмельком дядя Гриша мог запеть какую-нибудь веселую песню на идиш или заунывную русскую. Отец подхватывал. Потом они вспоминали Дальний Восток, Биробиджан, где провели детство.

Порою за забором проезжала телега. Странная скрипучая телега. Когда-то, лет сто назад, шолом-алейхемовская голытьба грузила на такую же телегу свой скарб и отправлялась за лучшей долей в Америку...

Была свадьба: дочь дяди Гриши – Алка, выходила замуж за Борика. Свадебное платье прислали родственники из Нью-Йорка, купив его в каком-то захудалом бутике на Брайтоне. Платьем этим очень гордились, а бершадские девушки, узнав, что у Алки платье из Нью-Йорка, от зависти скрежетали зубами. Правда, к радости подруг, Алка его малость испортила по дороге в загс. Сначала вступила в глубокую лужу у дома, а потом, садясь в «Запорожец», не подобрала подол и захлопнула дверцу. Ажурный шелк, уже здорово заляпанный

грязью, разорвался. Крику было... Мата... Жених Борик тоже кричал – у него вдруг разболелось ухо, и он все порывался удрать к врачу, а свадьбу умолял перенести. Но шансов у него практически не оставалось – Борик был зажат с обеих сторон невестой и двухсотпудовой Евой.

Михаил там был свидетелем, шафером. Потому что родственник, да еще из Киева. В ресторане к нему подступали незнакомые мужчины и женщины – спрашивали, не знает ли он, сколько денег вбухано в эту свадьбу и действительно ли это «рваное платье» – из Америки? Доверительно сообщали, что «вот-вот поднимут железный занавес», нужно готовиться.

Дома поздней ночью вскрывали конверты. Комментируя каждое вскрытие. О-о нет, вскрывали не конверты, а человеческие сердца, проверяя подлинность чувств приглашенных родственников и друзей. Алка – в белых перчатках, с ножницами, – разрезала. Борик ей ассистировал. Новоиспеченная теща принимала деньги. Поздравительные открытки непрочитанными летели в мусорное ведро.

Михаил вышел во двор. Звезды, тяжелые и яркие, висели на черном, удивительно глубоком своде небес. Воздух был напоен ароматом, вся земля усыпана белыми цветками. Где-то вдали раздались скрипы. Несмазанными осями скрипела телега, на которой грудой лежали чемоданы, баулы, торбы.

– Куда вы едете? – спросил Михаил у возницы.

Тот весело пропел в ответ:

– В Америку. В Бьюклин.

Утро выдалось ясное. Улицы под сентябрьским солнцем уже не казались такими мрачными, как вчера вечером. Утро улыбалось летящей паутинкой, грудастой блондинкой с рекламы, предлагавшей ортопедические матрасы. Часто слышалась русская речь, старики и мамы с детьми покупали овощи и фрукты. Словом, обстановка показалась Михаилу не столь уж чужой. Он закурил и, позевывая, зашагал к подземке. Поехал оформлять пособие по безработице.

Вагон пестрел рекламами. Не вполне понятного содержания. Почти все сиденья были заняты: китайцы громко переговаривались, негры жевали гамбургеры, хасиды в лапсердаках раскачивались над раскрытыми молитвенниками. Вавилон. Разнообразие лиц, одежд, языков. Непонятные надписи. Неясные сообщения из трескучих динамиков.

Михаил закрыл глаза. Он-то ожидал, что нью-йоркское метро – это место перестрелок и ограблений. Был готов ко всему. По совету дяди Гриши, положил в наружный карман один доллар, чтобы сразу отдать, ежели чего... Перестрелок и ограблений, похоже, не будет. Но почему-то с такой ясностью вдруг вспомнились улицы Киева, мощенные булыжником, отвесные кручи, синие июльские вечера... Вчерашняя жизнь, понятная и родная, становилась бесконечно далекой. Ненужной. Безвозвратно утраченной.

xxx

А Нью-Йорк в конце столетия благоденствовал. На фондовой бирже торги ежедневно заканчивались на положительных отметках.

Акция покупалась за доллар и в тот же день продавалась за десять. В биржевые игры по своей или чужой воле втягивались миллионы людей.

Самым популярным человеком в городе, да и, пожалуй, в стране стал Аллен Гринспэн – сын местечковых евреев, выросший в Бруклине. Этот, неприметный на первый взгляд, лысоватый мужчина стоял у руля Федерального резервного фонда США. На все вопросы о том, как он умудряется вести финансовый авианосец страны, Гринспэн отвечал, что по вечерам залезает в теплую ванну, там читает свежие газеты, потом полностью расслабляется, и гениальная мысль рождается сама собой. Ему верили. Его фотографии помещали на обложках даже поп-журналы, он становился эталоном идеального мужчины – в противоположность голливудским мальчикам.

Увы, пройдет еще пара лет, и дела на Уолл-стрит пойдут из рук вон плохо. Миллионы американцев в считанные дни потеряют целые состояния. Гринспэна начнут тихо ненавидеть. Вспомнят, что он еврей. Обложки журналов изредка будут помещать его последние фотографии – с кислой улыбкой и многовековой скорбью в потухших глазах...

Впрочем, все это впереди, пока же на Америку проливается золотой дождь. Быстрые перемены происходили во всем. Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани расправлялся с мафией. За решетку попали крестные отцы знаменитых итальянских кланов. Газеты пестрели фотографиями донов и их семейств, пресса пыталась создать иллюзию, что нью-йоркская мафия все так же сильна, как в тридцатые или шестидесятые годы. Заряд, однако, быстро иссякал: современные доны в сравнении со своими предшественниками оказались, по сути, главарями уличных банд. Пресса досадовала – мафиозный ренессанс не

удался. Зато жители Нью-Йорка облегченно вздохнули: мафия побеждена. Мафия бессмертна только в кино.

Реконструировали целые кварталы, парки, мосты. Стометровый участок Бруклинского моста ремонтировали почти пять лет. Мэрия щедро выделяла деньги. Периодически из кабинетов выводили в наручниках госчиновников, уличенных в получении взяток.

Знаменитая Сорок вторая стрит, улица секс-шопов и тайных притонов, превращалась в одну из самых благопристойных улиц Манхэттена. Десятки лет в дверях там стояли проститутки, нагло зазывая прохожих в темноту сералей. Мрачные типы рядом продавали наркотики. Мэр Джулиани решил покончить и с этим. Он издал указ, запрещавший секс-шопам существовать вблизи от общественных мест. Хозяева еще недавно конкурирующих борделей создали коалицию и единой ратью пошли в городской суд – с иском на мэра. Мэр ответил, что принимает вызов и адвокат ему не нужен. Проститутки и сутенеры с волнением ожидали исхода битвы.

Появились первые жертвы этой войны – полицейские, которых выдала одна бандерша, публично заявив, что копы из такого-то участка сами пользовались услугами ее девочек, приходили в определенные дни, а за это гарантировали неприкосновенность заведению. Полицейских разжаловали и уволили. Суд все же отдал победу мэру. По мосту из сверкающего Манхэттена в полутемный Бруклин покатали эшелоны проституток, сутенеров и наркоторговцев.

А Сорок вторая превращалась в одну из красивейших улиц города: открылись Музей мадам Тюссо, «Старбакс кофе», «Армани». О нехорошем прошлом этой улицы напоминал лишь вполне благопристойный бродвейский мюзикл в новом театре.

«Я принял Рим деревянным, а оставляю его мраморным», – когда-то горделиво изрек император Август. «Я принял Сорок вторую как улицу притонов, а оставляю ее улицей театров», – сказал мэр Джулиани.

Эти слова он произнес накануне очередного суда, отвечая по иску собственной жены, которая потребовала у мужа кругленькую сумму за супружескую неверность. Суд на этот раз отдал победу женщине. Мэр должен был выплатить бывшей жене шесть миллионов долларов и отдать ей особняк в обмен на личную свободу, а также на право в оговоренные дни видеться с детьми и любимой собакой.

Происходило множество и различных мелких событий: санэпидемстанция сражалась с крысами в подземке, лопались заржавевшие водопроводные трубы, прорывало газопроводные трассы. Столбы огня и потоки воды на улицах свидетельствовали о старости огромного города, вернее, о безнадежной обветшалости конструкций столетней давности. Летом на Бродвее проходил ежегодный парад секс-меньшинств, а спустя несколько месяцев – тоже на Бродвее – парад в День Колумба. Неутомимый мэр Джулиани всегда шел во главе колонн, размахивая то трехцветным итальянским флагом, то семицветным флагом гомосексуалистов...

Однако ко всем этим и многим другим событиям Михаил пока не имел ни малейшего отношения. Он жил в Нью-Йорке только второй день и долго блуждал в поисках здания, где безработным оформляли пособие.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На письменном столе – чашка чая, подсвечник, в котором расплылся огарок свечи.

Алексей сложил стопкой исписанные за ночь страницы. Листов тридцать. Почерк у него некрасивый, буквы маленькие и кривенькие, с каллиграфией – старые счеты. Потому что в школе на подоконниках наспех списывал домашние задания. Впрочем, важно ли это теперь?

Он еще раз перечитал написанную первую главу. Вот он, Герой его романа – Михаил Чужин. Немножко авантюрист, немножко франт. Алексей даже на миг позавидовал этому парню. Сам-то Алексей не был таким разудалым, как его Герой. Напротив, себя Алексей считал тряпкой.

Доволен ли он началом своего романа? Похоже, удалось передать то состояние. Да-да, приблизительно так: новая жизнь еще не началась, а прежней как будто никогда и не было...

Ощущения одинаковые, а истории разные. Скажем, Алексей приехал в Америку не один, а с женой и родителями. У него была специальность – журналист. С ним – отец и мать – больные старики, которые нуждались в операциях, и только в Америке эти операции могли тогда сделать. Была жена. Н-да, жена... Она ушла от него через три года после приезда в Нью-Йорк – связалась с каким-то брокером с Уолл-стрит. Сложила вещи и исчезла. Ну да Бог с ней.

И еще была мечта. Нет, не мечта – что-то страшнее, родственное смерти. Желание писать.

Все годы в Нью-Йорке Алексей работал журналистом в русских газетах. Мотался по городу, строчил статьи. Опекал родителей, неделями не выходя из госпиталей. И тихо умирал, потому что не подходил к письменному столу. А без этого собственная жизнь значила

для него мало. Гроша ломаного не стоила. И вот, после долгих сомнений и бедствий, наконец, дерзнул.

...О-о, белый лист бумаги! И острие ручки, оставляющее за собою шлейф мелких буковок. И таяние свечки, и дымок над чашкой с нежными длинноклювыми птицами...

Светало. Можно было еще вздремнуть, по четвергам в редакции разрешено появляться позже – номер ушел в типографию накануне. Алексей сладко потянулся, хрустнул пальцами, завел будильник. И под мелкое тиканье «тонк-танк» лежал с закрытыми глазами, пытаюсь заснуть.

Ему тридцать восемь. Он одинок. Свое горючее иммигрантское он уже отплакал. Он давно живет в Нью-Йорке – так долго, что порою забывает, в какой стране жил раньше. Он знает, что той страны уже нет. И Города тоже нет. В его старом доме разломаны стены, новые жильцы там все перестроили и одели окна чугунными решетками. Дом...

Не так давно Алексей ездил в свой родной Город. Не находил там знакомых улиц. Не узнавал друзей – разбогатели, растолстели, обрюзгли; жены, дети, любовницы. Алексей вернулся в Нью-Йорк со странным ощущением, что он однажды уже умер. Потому что все эти долгие годы Город жил без Алексея, а он – без Города. А все, что он помнит, что еще кровит в душе, – это лишь память. Миф. Прах.

Он не любил Нью-Йорк. И Америку, ту Америку, какую знал и понимал, тоже не любил. Но годы брали свое: он и сам не заметил, как привык, пустил корешки прямо в раскаленный асфальт на Таймс-сквер и в сырую землю Центрального парка...

Взорвался будильник. Алексей встал и пошел бриться. Увидел в зеркале бледное пятно с русыми волосами и темным полукругом щетины. Подумал – не забыть отдать Герою свои длинные ресницы.

xxx

В редакцию идти не хотелось. Заявись – снова придется мчаться куда-нибудь на пожар или на акцию протеста защитников пушных зверей.

Репортерство когда-то помогло Алексею вжиться в Нью-Йорк. Незабываемая лопнувшая водопроводная труба на Юнион-сквер, озабоченный прораб в каске. Алексей – в мокрых ботинках. Озябшие пальцы на кнопках диктофона.

А вечером на телеэкране в News Алексей увидел знакомые затопленные улицы, прораба и себя – в стайке журналистов. И словно исчезла какая-то незримая стена. Нью-Йорк – до сих пор непонятный и потому далекий – вдруг стал осязаемым, проник в мокрые ботинки и озябшие пальцы. А потом пошло-поехало: пожары, лечебницы для наркоманов, суды...

Алексей вошел в сквер, заказал в ларьке кофе, закурил. Подумал о своем Герое. Увидел его – идущим оформлять вэлфер. И в этот миг в сердце кольнуло. Словно тонкая иголка прошла насквозь. Алексей прикрыл глаза, наслаждаясь этой, почему-то сладкой, болью...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Офис, где нищим оформляют государственное пособие.

Получив номерок, Михаил отошел и сел в ожидании. Низкие потолки давили, придавая небольшому залу подобие тюремной камеры. Негры и латиноамериканцы в кожаных куртках, обвешанные золотыми цепями, в ожидании вызова втихаря курили какую-то дрянь и клацали кнопками магнитофонов; детишки кувыркались на заплеванном полу; несколько негритянок кормили грудью младенцев.

Михаил смотрел на них и завидовал... их свободе: чувствуют себя вольготно, курят, болтают. Все им здесь понятно, как дома.

Неподалеку от Михаила, в уголке, вжавшись в стулья, сидела пара белых. Что-то до боли узнаваемое было в выражении их лиц. Затравленность. Отчаяние... Наши.

Вдруг раздался звон разбитого стекла. Какой-то негр, обкуренный марихуаной, врезал кулаком в оконное стекло. Брызнули осколки. Вбежавшие полицейские сбили дебошира с ног, предварительно пару раз огрев его дубинками. Надели наручники и поволокли. Пришла уборщица, лениво собрав битое стекло, стала мыть пол вонючим раствором. Поигрывая дубинками, копы сделали несколько грозных кругов по залу. Воцарилась мертвая тишина. Сигареты были погашены, магнитофоны выключены, дети усажены на стулья. Полицейские, однако, скоро ушли, и притихшая публика опять ожила. Снова загремел рэп, поднялся галдеж, – наверное, так галдят в негритянских деревнях.

Михаил ждал приглашения. Но вызывали только черных. Наверное, потому что клерками тоже были негры. Им было приятно лишний раз унижить белого. Пусть подождет.

– Майкл Тчужин, – услышал наконец Михаил. «Чужин» пропал. Появился «Тчужин». Черт-те что.

Михаил заполнял какие-то анкеты, отвечал на вопросы. А толстый клерк ухмылялся. Его явно забавлял этот долговязый олух, который по десять раз переспрашивает: «А?»

– Америка – карашо. Нет коммунизм, – сказал вдруг клерк, выучивший потехи ради парочку русских слов. И снова перешел на английский.

Плохо, когда над тобою насмеваются. Понимаешь это не по словам (слов-то еще не понимаешь). Чувствуешь нутром. Еще хуже, когда не можешь достойно ответить, осадить, поставить на место. По-русски – не поймут, по-английски – еще не можешь. Приходится заглядывать в рот этому развеселому негру, пытаюсь разгадать смысл слова еще до того, как это слово будет им произнесено. Совсем плохо, что некого винить. Только себя. Почему так плохо учил английский? Зачем валял дурака в институте? И вообще – зачем уехал?!

– Америка – карашо. Нет коммунизм, – повторил клерк, отдавая Михаилу какую-то бумажку. Улыбнулся, обнажив крупные белые зубы.

Лицо Михаила посветлело. Он вышел, вернее, вылетел, окрыленный. Первая маленькая победа! Он справился. Даже показалось, что выглядел не таким уж идиотом. Посмотрел на бумажку, которую ему выдал клерк: «Майкл Чужин направлен на отработку вэлфера в Бруклинский суд». Работать прокурором, что ли? Михаил усмехнулся, сунув бумажку в карман, зашагал к подземке.

Песок, прогретый за день, медленно остывал, но был еще ласково теплым. Чайки находили в песке небольшие углубления и, поджав лапки, садились погреться. Волны выбрасывали на песок водоросли и прозрачных медуз.

Михаил брел вдоль берега. Остановился возле огромного камня, разделся и побежал в воду.

Океан! Прохладная, покалывающая тысячами мелких иголочек вода. Соль во рту. Мышцы рук наливаются силой. Кажется, плыл бы и плыл. Туда, где носятся моторные лодки и белеют паруса яхт...

Потом он сидел на камне, курил. Бухта, чайки, бархат солнечных лучей – все это так напоминало Крым, где он еще совсем недавно отдыхал с Олей. Не будь той проклятой поездки, может, все в его судьбе сложилось иначе. По крайней мере, он и сейчас жил бы в Киеве. Это уж точно. Разрешение на въезд в Америку лежало в ящике письменного стола, а уезжать он не собирался.

...Они познакомились на даче у Витьки, ее привела подруга. Шашлыки, коньяк, костерок, стреляющий искрами. Гитара – «трень-трень».

Потом все разбрелись парами, и Михаил остался с Олей у костра. О чем-то болтали. Доели печеную картошку. У нее были красивые руки и невинные глаза. Она была одна в эту ночь. И он был один. На чердаке на полу лежала какая-то шкура, а на стене висела голова оленя с ветвистыми рогами. Оля отдалась ему там, и утром, натягивая джинсы, пошутила, что, наверное, теперь пахнет каким-то зверем.

Оба подразумевали, что на этом их знакомство закончится. Но зачем-то она дала ему свой телефон, он зачем-то позвонил...

Ее муж уехал на заработки в Россию. Михаил предложил ей смотаться в Крым на недельку. Когда? Да хоть сегодня. Деньги есть, его «жигуленок» ждет за углом. Трасса была свободна, добрались за семь часов.

«Мой муж – интеллектuala. Но он мальчик, безнадежный мальчик. Ты тоже башковитый, но ты – мужик», – говорила Оля, заводя руки за спину, чтобы расстегнуть лифчик. Михаил гладил ее по загоревшей спине и улыбался. Им обоим нравилось участвовать в этом заговоре, наставляя рога «безнадежному мальчику-интеллектуалу». За три года супружества Оля изменяла мужу впервые, причем так откровенно, и испытывала особое удовольствие от новизны чувств.

В последний день, когда Оля спросила: «Мы ведь будем встречаться и после Крыма, правда?» – и в ее голосе прозвучали жалостливые нотки, Михаил ответил: «Да, конечно», – решив по приезде ее забыть.

...Эх, дела сердечные. Спелый миндаль, красное закатное солнце...

Утром они распили бутылку вина. Хохотали, потому что их маленькая авантюра удалась. Оля распустила волосы, и Михаил, заводя машину, ненароком подумал, что сразу рвать отношения с Олей вовсе не обязательно.

Рулевое управление заклинило, когда «жигуленок» мчался по шоссе. Машина врезалась в дерево. Основной удар пришелся по переднему бамперу со стороны пассажира. Михаил отделался несколькими царапинами. Олю увезла «скорая». Она вышла из комы на третий день. Когда Михаил переступил порог палаты, забинтованная

девушка с разбитым лицом велела ему убираться. К чертовой матери! Жалко, что калекой останется она. Лучше бы он.

Вернулся ее муж, мальчик-интеллектуал. И сразу потребовал денег. Потому что водитель «жигуленка» вел машину пьяным, имеются подтверждающие это документы. В случае отказа угрожал судом. Михаил продал свою квартиру. Муж взял деньги и потребовал еще...

Михаил – без квартиры, без машины, в долгах. А в ящике стола валялось разрешение на въезд в Америку, и срок его действия скоро истекал...

За неделю до отъезда в Нью-Йорк Михаил подкараулил мужа Оли у подъезда. Бросил его на землю и швырнул ему в лицо скомканный доллар. Сорвал накипевшее зло и отомстил этому торговцу несчастьем.

Оля уже была дома. Она ходила. Пока на костылях, но врачи обнадеживали.

3

– Завтра иду в Бруклинский суд.

– В Бьюклинский суд? Что, уже вызывают? – мрачно пошутил дядя Гриша.

Он сидел напротив Михаила в расстегнутой рубашке, изредка почесывая грудь. Морщинок на его лице – тьма. Непонятно, откуда у этого маленького человека берутся силы вкалывать по десять часов в день, обустривать дом дочки в Нью-Джерси и удовлетворять во всех отношениях необъятную Еву. Железный.

– Сейчас новые правила. Вэлфер нужно отрабатывать, – пояснил Михаил.

– А ты закоси. Скажи им, что страдаешь хроническими мигренями. Чуть что – пойдешь к врачу, заплатишь ему сто долларов, он тебе выпишет любую справку.

– Здесь такое проходит?

– Почему нет? Это же Амейика, свободная страна... Ну что, племяш, давай еще по рюмочке. Завтра Йом-Кипур. Весь Нью-Йорк – выходной. На улицах не увидишь ни души, все – в синагогах, – сказал дядя Гриша, любивший преувеличения.

Выпили. Закусили.

– Ты ешь, Михась, бо завтра будем голодать. До звезды.

...Йом-Кипур для Михаила был связан с дедом. С дедом Самуилом, который погиб в лагере. За что его посадили? Кто знает. В справке о реабилитации сказано: «Постановлением Тройки УНКВД от 9 декабря 1938 г. Чужин С. С. осужден на 10 лет лишения свободы за антисоветскую агитацию». Непонятно, зачем деда отвезли из Биробиджана в Кемерово. Ведь и возле Хабаровска было полно зон. И против чего дед Самойло агитировал?

Он приехал вместе с семьей из Бершади на Дальний Восток. Семейное предание хранит историю о каком-то родном брате деда Самуила – тот якобы уехал в Америку после революции, стал там фермером. Писал на родину письма, звал к себе. Но дед Самуил был помоложе и понаивней. Как всякий образованный человек, он слишком серьезно относился к идеям. Поверил, что сможет стать фермером в биробиджанском колхозе.

В итоге – батрачил на холодной земле Дальнего Востока, искал правду на колхозных собраниях. Родил еще одного сына. Попал в лагерь. Погиб.

– Ты знаешь, я пытался здесь разыскать наших дальних родственников, отправлял запросы, – рассказывал дядя Гриша. Он окосел как-то сразу, после второй рюмки, но остановился на определенной точке. Морщинки его разгладились, глаза заблестели. – Но Чужиных в Америке – полмиллиона! Оказывается, Чужины могут быть и Чазанами, и Казанами, и Каганами. Очень древняя фамилия, библейская...

От деда Самуила не осталось ни единого фотоснимка. Только рисунок, который спустя годы нарисовал отец Михаила простым карандашом.

Дед сидел на стуле вполоборота. Ничего героического. Никакого величия. Ничего библейского. Угловатая фигура, угловатое лицо со впавшими щеками, съехавшая набок кепка. Отец запомнил деда таким. Таким, быть может, он сидел и на допросе. Таким, наверное, его видели в последний раз в бараке, перед тем, как всех эков-евреев этого барака повели убивать за отказ работать в Йом-Кипур. Их убили возле скалы, размозжив им головы кирками. Живых и мертвых сбросили в траншею и присыпали землей.

В соседней траншее лежали православные, убитые за отказ работать на Пасху.

Все эти подробности рассказал лагерник, вернувшийся в 1954-м в Бершадь из Кемеровской зоны.

Дед Самуил и Судный день для Михаила были связаны в единое целое. Потому что в этот день все мужчины в семье Чужиных

постились в память об умерших и погибших, и дед Самуил в семейном мартирологе значился отдельно и чтился особо. Высоколобий идеалист. Мученик. С дедом как-то соединялось несоединимое: теплое местечко на юге червонной Украины – и мерзлая земля Дальнего Востока; телега с развеселым балагулой – и вагоны с вохрой и зэками. Дед – это Пост. Стакан воды и баланда. Пение шофара – и лай овчарок. Дед – это лагерь и синагога. Дорога за счастливой долей. И дорога в зону. И на Тот свет. И с Того света...

Отец в Йом-Кипур постился тайно, никому не говорил об этом. Он не любил все эти «синагогальные штучки», но в Судный день постом отдавал дань памяти ушедших. Дядя Гриша постился открыто, демонстративно, вплетая в Йом-Кипур и некоторый политический мотив. Для него еврей, идущий в синагогу, – это еврей, выступающий против советской власти.

А для Михаила Йом-Кипур – это страшный день. В кровавом закате. В столах на пепелище. В звоне последней трубы.

Он помнит, как дядя Гриша, приехав из Бершади в Киев к ним в гости, взял двенадцатилетнего племянника с собой в синагогу. В единственную тогда ветхую синагогу на Подоле.

...Талесы, ермолки, кивот со свитками. Гул, как в улье. Происходит что-то непонятное, все чего-то ждут.

А на улице стоят женщины и мужчины. Негромко переговариваются. Достают конверты. Читают письма о какой-то Валечке, что устроилась клерком в тель-авивском банке, о каком-то Диме в Чикаго. Всех что-то объединяет. Полушепот. Акцент идиш. Страх. Кровь. Что-то сильнее, чем кровь.

Михаил слушал обрывки разговоров, снова возвращался в синагогу. Протискивался между пиджаками и талесами. Вот раввин развернул свиток, читает громко, и голос его дрожит: «Шма, Исраэль!» И оживают, нарисованные на колоннах, львы и орлы. «Шма, Исраэль!» – раввин кашляет, задыхается, читает из последних сил.

Михаэль снова выходил на улицу. Разговоры о какой-то звезде, о Книге, в которую страшный и грозный Бог сейчас впишет судьбу каждого еврея на грядущий год. И поставит Свою печать.

«Шма, Исраэль!» – прокричал раввин, воздев руки над свитком. Затем поднес к губам позолоченный рог. Мертвая тишина. «У-у-у!..» – протрубил рог...

4

Показались два зеленых светящихся шара у входа в подземку. Через турникеты Михаил прошел более уверенно, чем в первый раз. Уже знал, что пули в метро не свистят.

Выйдя на улицу, долго спрашивал, как попасть в Бруклинский суд. Спешащие прохожие улыбались, но пожимали плечами. Михаил не уставал повторять «волшебные» слова: sorry, please. Без толку.

– Б...ь! – выругался он в сердцах.

Идущая мимо женщина остановилась:

– Какие-то проблемы? – спросила она по-русски. – А-а... Вам нужно проехать еще две остановки.

Через час он вошел в здание суда. Достал из кармана бумажку, где было указано, к кому он должен обратиться. Мистер Джек Уайт.

Наверное, мистер Уайт – важный судебный клерк, и Михаил должен будет ему помогать. Что ж, научится работать с деловыми бумагами, подтянет английский. Неплохо для начала. Сразу получил чистую работу. Босс уважает. «Мистер Майкл Тчужин?» – «Да, мистер Уайт». – «Бросайте работать. Время ленча».

...В подвале воняло хлоркой. Три негра, сидя на корточках возле урны, курили. Мистер Уайт, черный, как антрацит, вручил Михаилу швабру. Указал на пластиковую посудину на колесиках, с ручкой сбоку и валиками для отжимания воды. Мистер Уайт с плохо скрываемым наслаждением в голосе произнес: «Сэр, ваши туалеты – на первом этаже. За два часа сегодняшнего опоздания с вас вычтут десять долларов». Негры умолкли, с любопытством смотрели, как поведет себя этот белый.

Михаил глуповато улыбнулся. В армии салагу отправляли мыть парашу в первую же ночь, а за отказ избивали. Главное было – сразу не сломаться. Пусть бьют – говори «нет». А здесь – не Советская армия. Здесь – Бруклинский суд. Все вежливо. Без рукоприкладства. Светлую сторону при желании можно найти во всем.

– Sorry, – Михаил отдал швабру, развернулся и ушел.

Судя по всему, вэлфер ему теперь не дадут.

В сквере он сел на скамейку, закурил. Чего же он хотел? Приехал в Америку – без полезной специальности, без денег, с плохим английским. И сразу все получить? Слава Богу, есть дядя Гриша, который согласился устроить в бригаду маляров. Хорошо, что отец когда-то научил малярничать. Он здоров, молод, полон сил. Не ной! И забудь. Забудь про дачи, про костерки, про туманы над старым Днепром...

Михаил выпустил пару дымных колечек. Сигареты, кстати, стоят дорого, курить придется поменьше. И квартиру нужно найти поскромнее. От покупки машины тоже придется отказаться. Аскетизм. Воздержание. Готовься, Михась, проливать трудовой пот. Он хмыкнул. Обозленный и в то же время жалкий зашагал к метро.

xxx

Вскоре он снял крохотную квартирку на первом этаже ветхого двухэтажного дома. В коридоре в бойлерной гудел мотор, оттуда крепко тянуло мазутом. В комнате по стенам ползла плесень, линолеум на полу был разорван.

Мебель подбирал на улице. Вечером брел вдоль тротуаров, где рядом с мусорными мешками валялись разбитые стулья и диваны. Нашел почти новый матрас. Втащил матрас в квартиру, бросил на пол и прикрыл шерстяным одеялом. Завтра его ждал первый рабочий день в бригаде маляров.

Лежал и курил. Раскаивался в том, что приехал в Америку. Обвинял Олю, ее мужа, всех. Плакал. И презирал себя за эти слезы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Свечка догорала, голубой шарик скатился по фитилю и погас. Алексей обмакнул палец в расплавленный воск, посмотрел, как медленно застывает теплая матовая пленка. Алексей еще ясно не видел

Героя своего романа. Лишь один раз, когда дописывал последнюю строку, почудилось, что рядом промелькнул какой-то парень, вернее, чья-то тень оторвалась от одной стены и вошла в другую. И в этот миг сквозь сердце Алексея прошла крепкая цыганская игла. Боль уже была не сладкой, как в прошлый раз, а, напротив, саднящей и острой.

Н-да, этот Михаил – сильный. У него хватает мужества презирать собственные слезы. Алексей же своими слезами дорожил.

Первое время по приезде в Нью-Йорк Алексей тоже не шибко веселился. Пил водку и не пьянел. А когда нервы не выдерживали, выходил из дома и шел к Гудзону. Благо, быстрым шагом до реки можно было добраться за полчаса.

Яркие звезды горели над беспокойной водой. Волны разбивались о мшистые валуны, в лунном свете возникали белые пятна пены. Шум, плеск волн, далекий гул возвращали сиюминутное вечному, напоминали о других берегах, не утраченных навеки, а иных – которые будут когда-то обретены...

В единственную тогда в Нью-Йорке русскую газету Алексея не взяли. Ничего другого, кроме как писать статьи, он делать не умел. Пробовал устроиться консьержем или швейцаром. Нигде не брали. То ли неубедительно врал, что имеет опыт такой работы, то ли по незнанию претендовал на прибыльные места швейцаров, куда простых смертных, с улицы, не берут. А не брали, наверное, еще и потому, что Алексей сам не хотел ни таскать чемоданы туристам, ни открывать двери, произнося холуйское please. Даже за пристойную зарплату и хорошие чаевые. Негибкий он человек, Алексей. Не американец.

Его жена быстро поняла, что к чему. Она не мучилась роковыми вопросами. Сразу пошла в бюро по трудоустройству, заплатила, и ей

дали адрес богатой еврейки. В первый же день получила за уборку дома пятьдесят долларов.

...А русский Нью-Йорк тем временем быстро разрастался, приезжали тысячи русскоязычных иммигрантов. Открывались новые магазины, мастерские, рестораны.

Появилась новая русская газета, в которую Алексея, слава Богу, взяли. Напротив редакции стоял высокий католический собор. Бил колокол, созывая прихожан на утреннюю мессу. Густой колокольный гул долетал и до окон редакции, проникал в душную комнату, где сидели трое журналистов, у которых не было сил ни надеяться, ни любить, ни верить в Бога. Они были обязаны безостановочно писать, заполняя газетную бумагу необходимым набором слов. В конце недели появлялся босс и вместе с излюбленной шуткой «Вы еще не уволены» выдавал каждому журналисту мизерный чек.

Вечером снова с колокольни плыл звон, в храме начиналась вечерняя служба. Закрывались банки, магазины, пиццерии. А в прокуренной редакционной конуре все еще сидели три журналиста, обезумевшие от бесконечного писания. У них уже не было сил чувствовать собственную боль. И лишь когда поздно вечером они возвращались домой, они могли позволить себе задуматься.

Каждую пятницу Алексей выпивал дома стакан водки и валялся на диван. Жена, вернувшись с работы, еще смотрела телевизор, «мыльные оперы» ей помогали учить английский, а заодно и вникать в тонкости американской жизни. Она обладала уникальной пластичностью психики, схватывала на лету нюансы и обертоны американского характера, манеру поведения: эти мимолетные, но ядовитые шуточки, якобы невинные ужимочки, безошибочные

хватательные рефлексy. Ей удавалось вполне натурально изображать восторг, удивление, сочувствие – при полнейшем безразличии к происходящему. Словом, она уходила в Америку, в американский Нью-Йорк, в то время как Алексей безнадежно хирел в русском гетто Бруклина.

В субботу, свой единственный в неделю выходной, он спал. Не было ни сил, ни желания даже разговаривать с женой, слушать, какие скидки на покупку одежды дают работникам магазина «Мэйсис», куда она недавно устроилась продавщицей.

Зачем он ей был нужен в Нью-Йорке? С жалобами и стонами. С больными старыми родителями. С нищенской зарплатой, которой едва хватало на оплату квартиры. Без перспектив. Да еще с этим бесконечным воем – «Хочу написать роман».

Утром в воскресенье он снова отправлялся в редакцию. Скрипел снег под подошвами сапог. Улицы были безлюдны, Нью-Йорк еще спал. И жена еще обворожительно лежала под одеялом, досадуя на такое недолгое блаженство утренней поспешной любви...

Алексей замедлял шаги. Он знал, что у него остается лишь маленький отрезок заснеженной дороги – от дома к метро, мимо старого еврейского кладбища. И за эти десять минут он должен успеть продумать и прочувствовать многое.

Шапки снега лежали на черных гранитных кубках скорби. Цветы на еврейское кладбище приносить запрещается. Об этом сообщали таблички, написанные специально на русском языке – вдоль высокой ограды уже потянулись свежие могилы русских евреев. Несмотря на запрет, цветы все же приносили. Раз в неделю бригада веселых поляков

убирала кладбище – сгребали цветы в кучу, грузили на трактор и вывозили их за ограду.

Алексей проходил мимо, стараясь не наступать на оброненные сломанные розы. Видеть эту уборку было больно. Но он старался не растрчивать боль, потому что хотел ВСЮ свою боль, без остатка, отдать Герою своего будущего романа, а времени оставалось лишь пара минут – уже виднелись зеленые шары подземки.

Однажды в пятницу, поздно вечером, он выпил водки, чтобы быстрее заснуть, лег на диван и, закрыв глаза, не увидел ничего, кроме густого мрака. Он открыл глаза, но мрак не рассеялся, хотя в комнате горела настольная лампа, и работал телевизор. Он уткнулся лицом в подушку и долго плакал, а жена сидела рядом и не знала, чем ему помочь. Ей самой было тошно.

...А ночью пошел снег. Мело, мело по всему Нью-Йорку. Пушистые хлопья ложились на асфальт, на крыши домов, на ветки елок. Снег покрывал пеленой старое кладбище, бейсбольную площадку, рельсы метро. Под снегом скрывались автомобили, вагоны в депо, взлетные полосы в аэропортах... Утром на работу никто не пошел. Люди расчищали дорожки у домов, откапывали автомобили. Вертолеты разыскивали пропавших на шоссе. А ночью снова сыпал снег...

Все эти три дня Алексей читал, а ночью смотрел в окно. Напротив, на крыше соседнего дома, чернела труба, из которой струился дым. И казалось, что рай – он такой же: снег, пушистые елки, дым из каминной трубы...

Потом открылась еще одна высокопрофессиональная русская газета, где требовался репортер. Алексея взяли с испытательным

сроком. Его первые репортажи с места аварии водопровода и с пожара на текстильной фабрике понравились. Но этого было недостаточно.

2

Убили русского боксера, мастера международного класса Александра К. На рассвете в квартире бизнесмена на Брайтоне прогремело три выстрела. Киллеры – их было двое – сбежали по лестнице дома, вскочили в машину и скрылись. Об этом сообщили утром в теленовостях.

Алексей был в похоронном доме, оттуда гроб с телом убитого боксера увезли на кладбище. Алексей попытался провести собственное журналистское расследование, по крохам собирал все, что так или иначе относилось к трагедии. Спортсмены и тренеры – все, кто близко знал погибшего и догадывался о причинах убийства, умолкали, как только Алексей включал диктофон. Боялись.

Складывалась такая картина: русский боксер приехал в Нью-Йорк на соревнования и здесь остался. Мечтал пробиться в большой спорт. Через год к нему из России приехала жена с годовалым ребенком. Отметили день рождения сына. Вечером он ушел на работу и не вернулся. За что убили? Кто? Неизвестно.

«... У Томаса было агрессивное, тренированное тело, но лицо оставалось таким же чистым, мальчишеским...» Эта строка из романа Ирвинга Шоу почему-то вертелась в голове, когда Алексей ходил по спортивным клубам и русским кабакам, расспрашивая об этом убийстве. Когда-то в юности он несколько раз перечитывал роман «Богач, бедняк», больше других героев Алексей, – наверное, как и сам

Шоу, – любил Томаса. Сильный характер, прямой, благородный, он начал свою жизнь уличным хулиганом, стал боксером и погиб как герой, спасая от мафии жену-алкоголичку. В романе, однако, все было трагично, но и красиво – ринг в «Мэдисон-гарден», яхты, роскошные отели.

Здесь же правда была в самом убогом виде. Талантливый русский боксер грузил овощи всего лишь за два доллара в час, жил в подвале, затем стал вышибалой в русском кабаке, а потом – телохранителем хозяина того кабака.

В него всадили три пули. Две – в грудь, третью – в голову. Третий выстрел, контрольный, был главным – предупреждение хозяину кабака, что если он не заплатит кому нужно, то следующей жертвой станет он.

Все это Алексею рассказала жена убитого спортсмена – миловидная блондинка, Алексей разыскал ее в трущобе на Брайтоне. Вдова говорила полусшепотом, потому что рядом, на одеяле, расстеленном на полу, спал ребенок. Она уже не плакала, в ней угадывалась волевая натура. Лишь один раз у нее на глазах выступили слезы, когда она делилась недавними надеждами на будущее в Америке: «Думали, Саша пробьется в спорте, я – в медицине, родим второго ребенка...»

Еще она попросила не упоминать в статье ни названия того кабака, ни имени хозяина. Да, она все понимает, но хозяин дал деньги на похороны, купил ей и ребенку медстраховку, обещает оплатить памятник. Она показала рекламные буклеты памятников: «В Нью-Йорке, оказывается, памятник можно устанавливать через месяц после похорон».

Алексей кусал губы. Почему она так быстро согласилась благодарить того, кто должен был лежать в земле вместо ее мужа?!

Он зашел в тот кабак. Доложили боссу, что пришел какой-то русский журналист. Их короткий разговор проходил в закрытой комнате. Хозяин кабака предложил деньги, а после того, как Алексей отказался, сказал: «Напишешь в своей сраной газете лишнее слово – ляжешь рядом с Алексом, на том же кладбище, понял?»

Статья все же вышла. Получилось весьма проникновенно, со слезой, но туманно. Если бы Алексей решился добавить одну лишь подробность – назвать кабак и имя босса, чьим телохранителем был убитый, – многое стало бы ясно.

Через пару дней в редакцию позвонила вдова убитого, сказала, что какая-то женщина привезла ей детскую одежду и игрушки. Отдала и уехала, даже не назвав своего имени. «Представляете, я четыре раза спускалась к машине за вещами. Почти все новое и аккуратно упаковано, – звенел голос на том конце провода. – Незнакомый человек – и вдруг... Не думала, что в Америке такое бывает...»

Алексей молчал. Он знал, кто была эта великодушная незнакомка, – вдова другого русского боксера, убитого на Брайтоне год назад.

Это убийство, кстати, подтверждало догадки властей о происходящих изменениях в русском Нью-Йорке. В Департаменте нью-йоркской полиции и в ФБР уже создавались специальные отделы по борьбе с русской организованной преступностью.

Потом еще не раз Алексей проводил журналистские расследования. Порою выдавались недели, наполненные событиями, а порою – относительно спокойные.

Потом от него ушла жена. Им даже не нужно было разводиться, так как их брак в нью-йоркском Сити-холле не был зарегистрирован. Просто отныне они должны будут заполнять отдельно свои налоговые декларации. Всех-то дел. Об этих тонкостях жена заблаговременно узнала у адвоката.

Алексей слушал эту юридическую ерунду и думал о том, как далеко она зашла в своей мнимой американизации: советуется с адвокатом, который взял с нее за консультацию, наверное, долларов триста. Неужели зря прожили вместе пять лет?.. Мелькнула моторная лодка, распущенные волосы на ветру. Все это умерло. А может, никогда ничего и не было. Было, есть и будет – промозглый ветер за окном, мусорные мешки на тротуаре. Старые родители. И неизбывная боль писательства.

В общем-то, никто не виноват. Нужно было бороться с нуждой, свыкаться с новой жизнью, учиться, вкалывать. Жалеть друг друга не хватало сил. Они оба поняли, что выползать, выкарабкиваться им будет легче поодиночке.

Они встретились случайно два года спустя. В автобусе. Алексею показалось, что она подурнела. Он даже заметил морщинки у ее глаз. Боже, неужели он мог когда-то любить эту женщину? Этот манекен из витрины магазина «Мэйсис»?! В ее глазах он, правда, тоже был не Львом Толстым – все тот же репортер русской газетки, с нищенской зарплатой и плохим английским.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Аллея Центрального парка. Под высоким кленом сидит художник. Смуглолицый армянин. Высохший, в морщинах. Жесткая, в пол-лица борода.

– Здравствуй, Акоп.

– Здравствуй, Алексей-джан.

Перед Акопом этюдник. Кисточка окунается в черную краску, ударяет по белому листу. Потом идет плавно, плавненько. Появляются чьи-то глубокие глаза, горбатый нос, высокий мученический лоб. Алексей улавливает свое отдаленное сходство с этим, эскизным.

Акоп – гордец, презирает всех уличных художников. Он – гений, а они – ремесленники. Но, увы, ему тоже приходится подхалтуривать портретами на улице. В глазах его – что-то жаркое, черное. Алексею порой кажется, что Акоп когда-нибудь напишет картину «своей жизни» в духе Эль Греко и сойдет с ума.

– Не сойду, Алексей-джан. Дочки не позволят. Как твои дела?

– Нормально.

Алексей посмотрел вглубь вечерней аллеи. Несколько художников еще сидели там возле своих этюдников, рассчитывая на последний заказ от прохожих.

– Лизы сегодня в аллее не было, – сказал Акоп, не поворачивая головы. – Вчера она такой портрет написала... вах! Вокруг собралась толпа, аплодировали ей.

Алексей вздохнул.

– Я скажу Лизе, что ты приходил. Скажу, что ты хотел ей па-азировать, – Акоп поднял кисточку вверх и рассмеялся.

xxx

С Лизой он познакомился прошлой осенью здесь же, в аллее Центрального парка.

В редакцию тогда позвонил Акоп:

– Полиция всех арестовывает! Приезжай!

Алексей подоспел к самой развязке – полиция сажала художников в полицейский автобус. Некоторые были в наручниках. За заградительными перегородками мигом собралась толпа. Вечно спешащие, чрезвычайно занятые жители Нью-Йорка обычно имеют уйму свободного времени – случись на улице что занимательное, они готовы часами стоять и комментировать.

Акоп шел без наручников, в сопровождении полицейского. Упрашивал, чтобы его отпустили, от волнения смешивая английские слова с армянскими. Увидел Алексея.

– Алексей-джан, скажи им, что я не знал о новом указе.

Полицейский равнодушно выслушал этого незваного заступника с удостоверением репортера русской газеты.

По опыту Алексей знал, что на журналистов нью-йоркская полиция смотрит, как на мух: не церемонясь, могут вытолкнуть за ограждения, отобрать «корочки» и даже проехать дубинкой по спине. Правда, крайние выходки в отношении журналистов полицейские себе позволяют лишь в экстремальных ситуациях, скажем, в случае беспорядков на параде или во время облав.

Алексей упрашивал отпустить Акопа. Упомянул, что про этого художника не раз писали городские таблоиды, его фотографию поместили даже в ежегодном цветном альбоме *New Yorkers*, на одном развороте с мэром. Полицейский нахмурился – упоминание про мэра зародило у него некоторое сомнение. Но в автобус завели стоящего перед ними парня в наручниках, и, дабы не создавать «затор», полицейский отрезал «по» и подтолкнул Акопа в спину. Вскоре автобус покати́л в полицейский участок. Толпа зевак быстро растворилась.

... Возле забора стояла высокая черноволосая женщина лет тридцати пяти. В синем длинном платье. Вид у нее был жалкий.

– Не думала, что в Нью-Йорке такое возможно, – сказала она. – Пришла сюда сегодня в первый раз. А тут такое... Хорошо еще, что меня тоже не арестовали. Вовремя отошла в сторону и меня приняли за прохожую, – она подняла с асфальта сумку, из которой выглядывал рулон белой бумаги. – Ты не знаешь, почему их арестовали?

– Если я правильно понял, вышел новый указ. Теперь, чтобы рисовать на улице портреты, нужно покупать специальное разрешение. Художники посчитали, что платить не обязательно. И ошиблись. В Америке такие штуки не проходят.

– Их оштрафуют и отпустят?

– Кого-то отпустят сразу. А тех, у кого проблемы с документами и просрочены визы, наверное, подержат подольше... Меня зовут Алексей.

– Лиза.

– Ты давно живешь в Нью-Йорке?

– Год.

– Ты откуда родом?

– Из Киева.

Он посмотрел ей в лицо. Большие карие глаза, сухие губы.

Поцеловать бы...

– Помнишь Сэлинджера «Над пропастью во ржи»? В том романе парнишка терроризировал окружающих дурацким вопросом: «Улетают ли на зиму утки из Центрального парка?» Эти утки – рядом, минут десять ходьбы отсюда.

Она усмехнулась, отдала ему сумку.

– Пошли.

Они стояли на берегу озера, кормили уток и селезней. Лиза их назвала «утками Сэлинджера». Потом смотрели, как мальчишки играют в бейсбол на зеленом поле. Лиза призналась, что, сколько ни пыталась, не может понять правил этой игры. Зато заметила, что бейсбол уродует мужские фигуры. Нашли несколько грибов.

...Шуршали листья под ногами. Алексею казалось, что он с Лизой уже когда-то давно, лет сто назад, гулял по осеннему лесу, где тоже крикали утки на озерах, пахло сосновой смолой и грибами. И не было ни иммиграции, ни Нью-Йорка. Не болели родители, не уходила жена. Все это – бред, чепуха...

2

Они часто встречались в аллее этого парка, потом гуляли по городу. Лиза мало рассказывала о себе. Окончила Институт легкой промышленности, но вскоре поняла, что работа технолога – не для нее. Затем работала в Музее русского искусства, готовила экспозиции. Что

потом? «Ничего интересного...» А год назад встретила одного мужчину, бывшего киевлянина, приехавшего в гости в Киев из Нью-Йорка. Он предложил ей выйти за него замуж и уехать с ним в Америку. Она согласилась. Он – менеджер в одной солидной фирме...

Поначалу для Алексея многое оставалось непонятным в этой женщине. Скажем, ее нарочито грубоватая манера одеваться: простые длинные платья, обычные ветровки. Волосы, густые и черные, Лиза стягивала жгутом или связывала «старушечьим» узлом и лишь изредка распускала.

Но в ее самоогрублении чувствовалась какая-то вымученность, искусственность. Алексей догадывался – в душе ее что-то надломлено, и она продолжает гнуть и доламывать себя. Порою она забывалась и, увлекшись своим рассказом, могла вдруг протанцевать и застыть в грациозной позе. И тогда ее тело вдруг обретало свободную волнующую плавность.

Вскоре Алексей уже был уверен в том, что своего мужа она не любит. Кто спорит, ее муж – порядочный человек, работает с утра до вечера в солидной фирме, делает карьеру. У него свой дом, машина. Денег для Лизы не жалеет, в азартные игры не играет, в стриптиз-клубы для джентльменов не ходит. Словом, о такой американской партии можно было только мечтать...

Все это Лиза повторяла не раз. Но, перечислив все достоинства своего чудесного мужа, умолкала и грустно улыбалась.

...А под Рождество Нью-Йорк, заснеженный и холодный, затопили огни. Ветер гнал поземку по асфальту, с синеватых пушистых елок осыпался снег. Все куда-то спешили, и румянец играл на щеках, и хрустели плотной бумагой пакеты с подарками.

Лиза впервые вошла к Алексею в дом, покрасневшая от мороза. Когда он помогал ей снять пальто, слегка наклонила голову и как-то странно взглянула на него из-под длинных ресниц. Алексей ощутил томительную дрожь в кончиках пальцев, и холодная волна прокатилась по его животу.

Лиза прошла в комнату. Остановилась у стены, где висел его портрет.

– Это рисовал Акоп, правда?

– Да.

– Мне не нравится, как он пишет портреты. Вычурно, манерно.

– А как нужно?

– Нужно просто.

Она обернулась к нему. Одним движением сняла с себя платье. Осталась в белой шелковой рубашке с глубоким вырезом. И в ложбинке между грудей поблескивал крестик.

...Ночью он проснулся и обнял рукой холодную пустоту.

Лиза сидела в кухне, набросив на плечи шерстяной плед. Увидев его, отвернулась. Алексей приблизился к ней, хотел обнять. Поднял было руки.

– Не надо, – она отпрянула от него, как от чужого.

– Что случилось? – спросил он неестественно спокойно, закурил и сел напротив.

За окном завывал ветер. Сквозь щель в металлической раме пробивалась струйка морозного воздуха.

– Я не должна была к тебе приходить.

– Почему?

– Это никому не нужно.

Он сделал еще одну затяжку, прежде чем спросить о главном.

– Я тебя не люблю, – сказала она тихо.

Губы ее, сухие и жесткие. Бесчувственные. Холодные.

Поцеловать бы...

– Ладно. Идем спать, – встала и, кутаясь в плед, пошла в комнату.

А он еще долго сидел один. Курил. Слушал вьюгу.

Утром она ушла.

.....

Потом Алексей не раз поджидал ее у дома, но так и не встретил. Звонил ей домой, но чей-то мужской голос неприятливо отвечал, что Лизы дома нет, и когда вернется – неизвестно. Разыскивал ее в залах Метрополитен музея. Надоедал расспросами Акопу.

Зимою аллея художников в Центральном парке пуста. Холодно. Художники перебиваются редкими заказами, кто-то пытается создать вечное, кто-то занимает деньги, поглядывая то на календарь, то в окно, где виднеется лишь клочок хмурого неба.

Но Алексей был уверен: если Лиза не уехала из Нью-Йорка, рано или поздно он ее найдет. Нью-Йорк – самая большая в мире деревня. Тем более русский Нью-Йорк. Кто-нибудь – случайный русский таксист, или парикмахер, или журналист – упомянет имя приятеля или клиента, напишет статью, пожалуется на босса, который обязательно окажется твоим знакомым, а то и родственником.

...Она стояла за стойкой в баре «Голливуд». В зале висел смрад от дешевых сигарет. Музыкальный автомат сверкал лампочками. Лиза в ядовито-красной блузке с глубоким вырезом варила кофе.

Сердце Алексея возликовало.

– Как ты меня нашел? – спросила она.

– Мне знакомая официантка сказала, она работает в похожем итальянском баре на соседней улице.

Лиза почему-то смутилась. Алексей смотрел на нее, не зная, что сказать: свисающие локоны, стрелки у глаз, яркая помада на губах. И за всей этой пошловатой бутафорией он вдруг увидел другую Лизу – ночью сидевшую у него в кухне.

– Лыза, водку и кофе-эспрессо! – гаркнул какой-то мужик.

– Алеша, мне нужно идти. Подожди меня, моя смена скоро заканчивается, – попросила она.

Через полчаса она вышла из бара, села в его машину. Достав салфетку, стерла с губ помаду. Брезгливо поморщилась и выбросила салфетку в окно.

– Утомили они меня сегодня. Извини, Алеша. Так было нужно.

– Кому?

– Мне.

Он завел двигатель. Вспомнил, что дома осталось полбутылки вина.

– Я к тебе не поеду, – сказала она твердо. – Отвези меня домой.

Она ушла от мужа. Снимает квартирку-«голубятню». Пока зима, устроилась официанткой в баре. Все это она рассказывала, пока ехали.

– Эти итальянцы – деревенщина из Сицилии, но ведут себя, как настоящие пижоны. Когда играют в карты, подзывают меня, чтобы я снимала с колоды, и за это платят «сеньорите» по десять баксов.

Машина остановилась около ее дома.

– Все, спасибо, я побежала, – Лиза взяла сумочку.

– Хочешь, я одолжу тебе денег? Вернешь, когда сможешь, – предложил он.

Она на миг нахмурилась. Посмотрела на него с любопытством, даже ласково:

– Нет, Алеша. Я постараюсь справиться сама. И, пожалуйста, не приходи больше в ту забегаловку. Не хочу, чтобы ты меня видел там.

– А где? Когда?

– Позже. Мне нужно какое-то время побыть одной.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Поднявшись по лестнице, Лиза вошла в свою квартиру. Из-за низких скошенных потолков там постоянно приходилось пригибаться, чтобы не ушибить голову. В руках держала конверт. По почерку сразу узнала, от кого письмо. Она небрежно бросила сумочку на кровать и, не снимая плаща, распечатала конверт.

Писала инокиня Мария.

«...Будь здорова и Богом хранима. Может, тебе удастся приехать к нам в монастырь хоть на пару дней? Познакомишься с сестрами, помолишься, отведешь душу. От Нью-Йорка к нам – если рейсовым автобусом – четыре часа езды. Иногда в Нью-Йорк по делам ездит на машине наш настоятель о. Лавр. Он смог бы тебя привезти, только назад тебе придется добираться самой.

Вот, пожалуй, и все, моя дорогая. Помогай тебе Господь.

Твоя во Х. I. сестра, недостойная монахиня Мария».

Лампочка горела ярко, тени исчезли с Лизиного лица. Она подошла к иконе и перекрестилась.

С инокиней Марией она познакомилась в самолете, когда летела из Киева в Нью-Йорк – их места оказались рядом. Разговорились, в аэропорту расстались, обменявшись американскими адресами.

Пожалуй, всё.

В духовной жизни, однако, случайностей не бывает.

xxx

... Когда-то, лет тридцать назад, в спальне ее киевской квартиры стоял диван, массивный, с потертой обшивкой. На нем спала бабушка. Диван был достаточно широк, чтобы раскладывать на нем все кукол или прятаться «в пещере» из одеял.

Из угла над диваном на нее смотрело... чудо, которое именовалось, как и подобает чуду, – Архангел Михаил. На раскрашенной доске был изображен юноша в огненном плаще поверх стальных доспехов. Распростертые за его спиной мощные крылья трепетали. Его взор был суров, и Лиза, хохотушка, когда обращалась к «ахаглену», тоже становилась серьезной, насколько ей это удавалось. Важно нахмутив бровки, говорила: «Я взяла две конфеты из коробки. Хотела съесть только одну, а вторую положить назад. Но съела две. И никому не сказала. Ты тоже никому не говори, ладно?» Архангел все ей прощал и, пообещав хранить тайну, тонул в небесной лазури. А Лиза набрасывала на голову плед и тихонько пробиралась на кухню – пугать бабушку.

Бабушка Ира, щупленькая, седая, стояла у плиты. Лиза помнит бабушкин передник, пропахший жареным луком и пирогами. В этот передник Лиза уткнулась лицом и разрыдалась, когда впервые

услышала во дворе, что она – жидовка. Камни полетели ей в спину. «Бабушка, а можно, чтобы вы все – мама, папа, ты – были жидами, а я – русской или украинкой?» – спросила она дрожащим голосом. Бабушка погладила ее по голове и сказала: «Нет, Лизочка». О-о горе!..

Однажды они вдвоем – Лиза и бабушка – подняли пьяного. Мужик в разорванном пальто валялся под забором. Прохожие его словно не замечали, а бабушка подошла и стала поднимать. Лиза стояла за ее спиной, не понимая, почему все мужчины проходят мимо, а маленькая бабушка Ира пытается усадить на скамейку этого пьяного медведя. «Он такой страшный», – потом призналась Лиза. «Да. Но он мог замерзнуть», – ответила бабушка.

xxx

Икона «Архангел Михаил» в бабушкиной спальне – это память о священнике Алексее Глаголеве. Во время войны отец Алексей спасал евреев. Тех, кого не расстреляли в Бабьем Яру.

29 сентября 1941 года бабушка не выполнила приказ немцев и не пошла к еврейскому кладбищу, откуда всех собравшихся повели в Бабий Яр. Понимала, чем грозит «эвакуация в безопасное место на юг» – фашисты обещали именно это. Ее отца уже расстреляли несколько дней назад – вывели из синагоги к Днепру вместе с другими молящимися (был канун Йом-Кипура), а на следующее утро к берегу прибило мешочки с молитвенными принадлежностями.

До казни в Бабьем Яру оставалось три дня. Дворники уже ходили в гестапо со списками жильцов-евреев. По дорогам разъезжал грузовик, и семь раввинов в кузове под дулами автоматов плясали «Фрейлехс».

Тогда еще двадцатилетняя, бабушка Ира (для Лизы она всегда – бабушка) постучала в соседский дом, где жила семья священника Глаголева. Отец Алексей впустил девушку. Гладил по голове, выпростав ладонь из темного рукава рясы, и конфузливо бормотал: «Тяжкое, тяжкое время, что говорить. Пришли испытания, большие испытания...» Он выписал ей поддельное свидетельство о крещении, а его жена отдала девушке свой паспорт, только фотографию переклеили. Так и жила с ними «дальняя родственница» Ирина, правда, на улицу почти не выходила – могли донести.

...По Киеву разъезжал «черный ворон». Евреи прятались в погребах, подвалах и выгребных ямах. В Бабьем Яру строчили пулеметы. Тяжкие, тяжкие времена...

Священник Алексей Глаголев шел в гестапо, где сидели новые арестованные. Под угрозой расстрела свидетельствовал, что все они – Минкины, Гермайзе, Дашкевичи – русские, крещеные. Дважды его избивали, а его жену арестовывали. Он прятал евреев в Покровском женском монастыре, оформив их певчими.

Лизе исполнилось семнадцать лет, когда она однажды раскрыла «самиздатовскую» книгу «Катастрофа». Там были собраны воспоминания, свидетельства очевидцев. Среди прочих там был помещен и рассказ ее бабушки о последних днях перед освобождением Киева. «Нас, укрывающихся евреек и монахинь из Покровского монастыря, погнали в концлагерь, а оттуда повезли в Германию. Наш поезд попал под бомбежку, мы чудом спаслись. Когда вернулись в Киев, то узнали, что семья отца Алексея в Киеве, но он тяжело хворает. За нежелание выехать из города немцы его жестоко избили и бросили на улице с сотрясением мозга...»

.....

В церковь Покровского женского монастыря Лиза впервые вошла с бабушкой. Обомлела, увидев столько «ахагленов», огненных и золотых. Бабушка о чем-то разговаривала со священником – отцом Алексеем, седым, с палочкой. А Лиза, раскрыв рот, рассматривала голубой купол и все вокруг. «Нравится тебе здесь?» – спросил священник. Лизе захотелось крикнуть: «Да!», но она по-взрослому сжала губы и молча кивнула.

Дома потом играла «в монастырь»: закутывалась с головой в темный плед так, что оставалась лишь узкая щелочка для глаз, носа и рта. Подходила к иконе и, помахав перед собою рукой – изобразив нечто, вроде крестного знамения, обстоятельно рассказывала архангелу о незаконно съеденных конфетах, рассыпанных бусах и маминой губной помаде – ею можно было вначале накрасить губы, а потом разрисовать зеркало. Очень хорошая помада. Красная.

2

Бабушка умерла, когда Лизе исполнилось тринадцать лет. Она хорошо помнит тот вечер. Был март, на диво теплый, от снежных баб уже оставались бесформенные кучи. Лиза гуляла во дворе. Спускался вечер. Подруги расходились по домам, а Лизу родители почему-то не звали. Ее охватила непонятная тревога, хотелось оставаться во дворе подольше, только бы не идти домой. Двор опустел, и Лиза вошла в подъезд. Она помнит перепуганное лицо мамы и подавленное – отца. Множество людей толпилось в их квартире...

Лиза не помнит, кто лежал в гробу, украшенном черными шелковыми лентами. Для Лизы тот гроб был пуст, хотя к нему подходили родственники, соседи, незнакомые люди, клали цветы. Еще долго она будет казнить себя за то, что поехала тогда на кладбище в новой красивой демисезонной курточке, хотя нужно было надеть ненавистное старое пальто. Но родителям было не до Лизы, она набросила курточку, сбежала по лестнице и забилась в уголок автобуса.

Она помнит земляной холмик, на котором стоял гроб. Родственники и соседи произносили прощальные слова. Горсть земли, которую Лиза бросила на крышку, была холодной и вязкой. Лишь дома, ночью, когда она лежала одна в комнате, и зеркало в шкафу было завешено простыней, а диван пуст, Лиза поняла, что бабушка умерла.

3

Он вел семинары по философии в институте, где училась Лиза. Закончил аспирантуру МГУ, по своим знаниям и манерам он на голову превосходил киевских коллег. Стойки, платоники, его карие глаза... Пару раз они оставались наедине в пустой аудитории, пару раз вместе вышли из институтского корпуса.

Узнав, что Лиза интересуется живописью, он стал давать ей книги по искусствоведению. Когда они гуляли в сквере, он так интересно делился своими мыслями о тех книгах. Говорил тихо и сдержанно, но от этой сдержанности Лизу охватывало сильное волнение. Она молча слушала, глядя себе под ноги. Пронзительные запахи осеннего сквера, и шелест, и шорохи пьянили, уносили куда-то в неведомую прекрасную даль, где нет ни тоски, ни печалей, а есть

лишь двое – она и он... «Лиза, если ты не возражаешь... если ты не против... если...» «Да-да-да...»

А потом узнала, что он женат. Сколько раз она давала себе слово оборвать эту связь! Отказывалась от свиданий. Он то уходил, то снова возобновлял отношения. Обещал оставить семью, только просил подождать. Лиза соглашалась. Уже понимала, что он ее обманывает, но не находила в себе сил уйти. Как они ни пытались это скрывать, но про их связь знали в институте и студенты, и преподаватели, что создавало дополнительные сложности для обоих. Так длилось больше года. И вдруг – беременность.

Аборт. Да, конечно. Она обещала пойти в больницу. Завтра. Через неделю. А по ночам уже разговаривала с «малышом». Призналась во всем маме. И решила ребенка сохранить. Возьмет академический отпуск. Вырастит ребенка сама. А в свидетельстве о рождении в графе «отец» – что ж? – пусть стоит прочерк.

Он как будто согласился, хотя вид при этом имел растерянный. Через несколько дней встретил ее после занятий и пригласил в кафе. Сказал, что принял решение – уходит от жены. Они поженятся. Лиза родит ребенка, закончит институт. А его докторская диссертация – подождет. Голос его, глубокий и сдержанный, все так же волновал ее. Лиза боялась верить, что унижения, боль, слезы – все позади; теперь-то начинается настоящая жизнь – с мужем, ребенком, как у всех, только у нее будет гораздо лучше, счастливее...

Он привел ее в частную клинику к своему знакомому – хирургу, якобы проверить, нормально ли протекает беременность. Она что-то выпила, а потом целую вечность пролежала в полубреду. Ее раздели,

что-то делали с ее безвольным, ватным телом. Привезли домой. Потом сильно тянуло в нижней части живота, началось кровотечение...

Ночью Лиза лежала и смотрела в потолок. Представила, как он завтра войдет в аудиторию, будто ни в чем не бывало. Зазвенит звонок, студенты раскроют тетради. Жизнь будет идти своим чередом. Жизнь – это зло. Подлость. Предательство. Как можно жить в таком мире? Зачем?!

...Рано утром бледная, с затравленными глазами, она вошла в церковь. Там было безлюдно, лишь у алтаря стоял священник. Воздев руки горе, произносил слова о Божьей любви к людям. Лиза обвела храм глазами. Долго смотрела на старую фреску на стене, где была изображена женщина в рваной накидке, босая, с растрепанными волосами. Лиза подошла к фреске и поцеловала ногу святой. Ей что-то открылось в тот миг, потому что она почувствовала себя крепкой и сильной, ночная мысль о лезвии показалась малодушием. Она опустилась на колени...

xxx

Закончила институт. Устроилась, однако, не на швейную фабрику, а в Музей русского искусства. Писала – для начальства – рефераты, а для себя делала копии с оригиналов картин.

Внешне ее жизнь напоминала бесконечные и бессмысленные шараханья. Потери, ошибки, разочарования. Но были и приобретения. Лиза уже многое знала о себе. Знала, что не хочет быть технологом, а хочет заниматься живописью. Догадывалась, что она – человек яркий, по-своему бескомпромиссный, но слабохарактерный.

Она жила вдвоем с мамой, отец семью оставил. За ней ухаживали, предлагали замуж. Но Лиза отказывала.

Со своим «американским» мужем она познакомилась в автобусе. Он спросил, где находится детский магазин, чтобы купить игрушку племяннице. «Знаете, за восемь лет Киев так изменился, не узнать». Разговорились. Он предложил встретиться еще. Он – интересный собеседник, эрудированный, галантный. Лиза им увлеклась, и он вскоре предложил ей выйти за него замуж и уехать в Америку. В Америку?..

Она долго раздумывала над этим предложением. В конце концов, что она теряла? Интересную работу? Роскошную квартиру? Семью? В Киеве у нее оставалась только мама. Но и маму потом можно будет вызвать в Штаты.

Ее нью-йоркский жених... Да, он не был ее идеалом. Но ведь живут же и без большой любви. Да и кто сказал, кто придумал, что на свете существует такая любовь?!

В последний день перед отъездом она пришла на кладбище. Почти весь еврейский участок, где когда-то на могилах росли нежные цветы, теперь был покрыт бетоном – еще один печальный признак того, что евреи покинули страну.

Набухали почки березы. Когда хоронили бабушку, эта березка была еще совсем худенькой. А теперь... Длинные ветки колыхались на ветру. Весело чирикали воробьи. Черная раскисшая земля уже кое-где покрывалась тонкими редкими травинками.

Бабушкины глаза на овальной фотографии были размыты дождями и снегом. На плите лежала опрокинутая стеклянная банка, в ней когда-то стояли цветы. Лиза протерла памятник влажной тряпкой,

села на корточки, положила ладони на гладкий холодный гранит. Она была там одна, поэтому не боялась, что в ее словах проскользнет фальшь.

Бабушка. Бабушка. Прости за все зло, что я тебе причинила. Прости, что пошла на твои похороны в модной куртке. Прости, что не пришла домой в твои последние минуты. Прости, что иногда, когда мне очень плохо, взываю к тебе, нарушаю ТАМ твой вечный покой и твое ожидание...

Слезы, светлые, катились по ее щекам. Лиза вытирала их ладонями, и на лице оставались продолговатые черные полосы. Она не знала, уезжает ли в Америку навсегда или на время. Но почему-то так щемило в душе, так тревожно и жалобно, как никогда раньше, раскачивались над головой ветки березы...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Болит сердце. Колет в груди. Во сне Алексей вдруг начинает задыхаться. Просыпается в испуге. Слышит близкое тиканье часов и какие-то далекие шумы. В последнее время он стал меньше пить кофе и меньше курить. Не помогло – болит. И опять-таки – видения нехорошие. Химеры. Бессонница. Нужен врач.

Кажется, двадцать... да, двадцать лет назад он попал в больницу. Медкомиссия военкомата обнаружила у призывника Алексея какие-то сердечные неполадки – шумы, резкие перепады пульса, еще что-то. Его поместили на обследование в больницу.

Старенькая больница с обшарпанными стенами. Отвратительный запах лекарств, хлорки и не менее отвратительного горохового супа.

Капельница почти у каждой кровати. Ему измеряли давление, делали кардиограммы. Апрель выдался теплым, и молодого пациента Алексея стали привлекать к работам в больничном саду. Он вскапывал землю на клумбах, белил стволы деревьев. Оставив лопату, подолгу сидел на скамейке, греясь на солнышке. Обследование затягивалось, что устраивало и Алексея, и низшее звено больничного персонала.

Вечером под окнами палаты появлялся друг Генка. Алексей, уже облаченный в джинсы и ветровку, выпрыгивал в сад через окно. Бледные сопалатники в пижамах с завистью глядели ему вслед. В больнице нужно было появиться к восьми утра, до врачебного обхода. Однажды Алексей не рассчитал: еще пьяный, с превеликим трудом взобрался на подоконник и окаменел – перед ним стояли люди в белых халатах, и один из них возмущенно проскрежетал: «Без-зобр-разие!»

Ровно через неделю после этого, остриженный наголо и с вещмешком на плече, Алексей вышел из дверей военкомата. Во дворике стояли родители, друзья. Ждал автобус. Еще успели выпить водки на дорожку и наспех закусить бутербродами. «А-ать!» – «На заре, на заре, провожала милая на за-аре-э...»

Эту историю он вспомнил, когда в медицинском офисе заполнял анкету со стандартными вопросами: дата рождения, вес, рост. «Курите?» – «Да». – «Жалобы?» – «Болит сердце».

...– Какая у вас страховка? – спросила секретарша.

– Никакой.

– Как же вы собираетесь расплачиваться?

– Кредитной карточкой.

Девушка удивленно шевельнула бровями.

Чему удивляться? Не было у Алексея медстраховки. Потому что владелец газеты не обеспечивает медицинскими страховками своих наемных работников. Имеет полное право. И государство, самое богатое в мире, тоже почему-то не обеспечивает бесплатным лечением всех своих граждан. Стоит медстраховка дорого. Поэтому десятки миллионов (!) американцев живут без медицинских страховок. Надеются, что Бог услышит их молитвы и им не придется обращаться к врачу.

Вскоре, раздетый по пояс, Алексей сидел в кабинете на кушетке, и врач прикладывала к его груди холодную чашечку фонендоскопа.

– Сколько вам лет?

– Тридцать восемь.

– Как давно у вас болит сердце?

– Месяца три.

– Как вы спите?

– Гм-гм... Плохо сплю.

– Вдохните глубже. Задержите дыхание и потом медленно выдыхайте. У вас в семье кто-либо страдает сердечными болезнями? Отцу делали шунтирование? Понятно. Повернитесь.

Он поднял высоко руки, и ребра под тонкой кожей проступили отчетливой. И снова металлическая чашечка перемещалась по его груди.

– Одевайтесь. Мы сейчас сделаем вам кардиограмму, возьмем анализ крови, выпишем таблеточки, – врач сложила «рожки» фонендоскопа и, еще раз мельком взглянув на него, сказала: – Еще я бы посоветовала вам обратиться к психиатру. Чему вы улыбаетесь? Я не шучу. В Нью-Йорке к психиатрам ходит каждый третий. Вы, похоже,

человек впечатлительный, с нервишками. Думаю, что все ваши сердечные боли – вот здесь, – врач улыбнулась и легонько постучала указательным пальцем по своему лбу.

Потом он сидел в сквере на скамейке. Просунул ладонь между пуговицами плаща и приложил к груди. Сердце разбухало, давило. Хотело разорваться. Нужно заказать таблетки. Стоят они, наверное, долларов сто. На врачей и на лекарства денег не напасешься.

Эх... вся беда в том, что никакие врачи и таблетки все равно не помогут. Болит – роман. Кривенькие букочки на белом листе. И ночная тишина, и огонек свечи на столе... А потом жжет и бахает в груди. И средство избавиться от этой боли только одно, простое и легкое – не писать.

Алексей помрачнел. Смял в кулаке пустой картонный стаканчик.

А поздним вечером в его квартире опять свистел чайник, и ручка лежала возле белейшего листа. Алексей курил, хмурился. Он выходил из Алексея и бродил в пустынных местах в поисках своего Героя.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Надвигалась волна, такая высокая, что не был виден ее гребень. Михаил нырнул головой. Плыл под водой вперед, пока сквозь колышущуюся поверхность не стали проникать солнечные лучи. Еще одно сильное движение рук и...

Этот сон не имел окончания. По какой-то загадочной причине проклятый будильник всегда трещал в тот самый миг, когда

сопротивление воды почти исчезало. Михаил просыпался и, не раскрывая глаз, нажимал на кнопку будильника. Снова воцарялась гробовая тишина. Недолго Михаил еще лежал на своем матрасе, на полу, надеясь вернуться в эту лазурную воду. Знал, что лазурь и плеск волн – последняя его радость в этот, еще не начавшийся день. Знал, что день этот будет длиться вечность, а он хотел лишь пару секунд иллюзорного блаженства. Губы его еще улыбались, длинные ресницы подрагивали, в лице зыбко проступали черты беззаботного подростка.

Но вскоре он открывал глаза, и у рта возникала горькая складка. Включал телевизор, дикторы говорили непонятно о чем. Но Михаилу нужны были не новости, а лишь звучание чьей-то речи. Он принимал душ, одевался и шел к метро; в брезентовой сумке за плечом греюкали инструменты.

В его походке, еще недавно щегольской, появилась некоторая жесткость. Разумеется, не шибко попрыгаешь, когда в сумке электродрель, пакеты шпаклевки и банки краски. Походка, однако, изменилась не только из-за тяжести сумки. Он ведь шагнул в пролетариат, к малярам и строителям, где хотя и встречались бывшие художники и инженеры, но тон – простой и грубый – задавали работяги. И под этот тон нужно было подстраиваться.

Принцип один – поменьше думай. Окунай валик в краску, «закатывай» стену и следы, чтобы краска ложилась без пробелов и потеков. И подсчитывай, сколько долларов уйдет в этом месяце на оплату квартиры, на проезд, на зимнюю куртку, на...

А думать, переживать, жить? О-о... это потом. Это – роскошь. Михаил вот позволил себе поболтать с хозяйкой квартиры, где он сделал свой первый в Америке ремонт. А потом босс спросил, почему

он потратил на этот ремонт целых два дня. Вот те раз. Он-то думал, что сделал все невероятно быстро. Растерянный, стоял перед боссом в прокуренной комнатухе, а дядя Гриша рядом виновато посапывал.

– Это – Амейка. Миллионы иммигрантов и нелегалов здесь готовы вкалывать за копейки, – говорил потом дядя Гриша, и его повеселевший голос звучал далеко, хотя они шли рядом. – Здесь, племяш, с тобой никто не будет нянчиться. Босс скажет: «Отдохни. Когда понадобишься – позвоню».

– И что? – спросил Михаил.

– Что?! Пиши пропало. Значит – уволен. Значит – смеять. В этот раз, считай, тебе повезло. Скажи боссу спасибо. Он – пайень что надо.

– Пошел он!.. Вообще плюну на все и уеду в Киев!

Дядя Гриша резко остановился. Наклонил голову набок и снизу вверх покосился на племянника.

– Ты что – то-го? – он покрутил пальцем у виска. И, посчитав, что на этом тема исчерпана, зашагал к машине.

xxx

В одном, по крайней мере, дядя Гриша был прав: прихода каждой пятницы рабочие их компании ожидали со страхом и трепетом. Потому что по пятницам босс выдавал зарплату. Порою кому-то говорил, что имярек «может отдохнуть». И тогда все смотрели вслед уволенному со смешанным чувством облегчения и жалости.

Постоянного состава как такового не существовало, компания разделялась на бригады – в зависимости от объекта. Со дна человеческого моря возникали какие-то Васыли, Хаимы, Рафаэли и

через некоторое время бесследно исчезали. Их либо увольняли, либо они уходили сами.

На коротких перекурах разбивались на две группы – работяг и интеллигентов. Работяги редко вспоминали прошлое, чаще говорили о насущном, хлебном. В их разговорах было сложно понять, где заканчивается американская реальность и начинаются иммигрантские мифы: «Чтобы попасть в государственный кооператив, нужно дать взятку в десять тысяч долларов. Если по квартире бегают тараканы, хозяину за жилье можно не платить, а нужно подать на него в суд. Деньги надо хранить только в “Сити-банке”».

Интеллигенты вспоминали, как там, на родине, они были известными архитекторами и уважаемыми реставраторами. «Я отреставрировал дворец. Я строил виллы правительству. Я знал Иван Иваныча». В большинстве своем люди немолодые, они стали в Нью-Йорке неплохими малярами, но уважение к себе потеряли.

Михаил слушал молча. Всё – одно и то же: схожие иммигрантские заботы, одинаковые страхи, одна нужда.

Молчал на перекурах и плиточник Юра. Скучающе глядел Юра, как растёт столбик пепла на его сигарете. В прошлом он не строил правительственных вилл, его также не волновало, сколько процентов со вклада даёт «Сити-банк». Срок действия американской визы в его паспорте давно истек, и потому Юра был нелегалом. Его широкие плечи, бычья шея и короткие мускулистые ноги выдавали в нём профессионального борца, а лицо с простыми правильными чертами – человека открытого и бесхитростного.

– Проклятая страна – каждый готов за доллар удавиться. То ли дело у нас, в России, – сокрушался Юра, когда они вдвоем после работы возвращались домой. Стучали колеса поезда метро.

– Где ты так научился плитку класть? – спросил Михаил. Руки его гудели, спина наливалась свинцом.

– Батя научил. Но плитка здесь – дерьмо. Рассыпается, как песок, – Юра шевельнул толстыми короткими пальцами, словно растер плитку в руке.

– Шпаклевка здесь тоже дерьмо. Быстро сворачивается, – поддержал его Михаил.

– А-а... плевать я хотел на все. Лишь бы бабки платили.

Михаил смотрел в окно. Он хотел было добавить, что и стены здесь – не кирпичные, а из сухой штукатурки, случайно заденешь – проломишь. И вообще, не дома здесь, а трущобы. Хотя и стоят по миллиону. И сам он, Михаил, теперь – трущобник. До чего же он докатился, если его волнуют какие-то валики и штукатурка?!..

– Я этому клиенту-козлу трубы под джакузи разъединил, а потом пол забетонировал. Так босс велел, – сказал Юра, и в его честных глазах мелькнула радость.

– Зачем?

– Клиент неправильно себя повел. Не рассчитался, как следует.

– Там же балка прогнет и проломится весь этаж, – Михаил представил, как с грохотом падает мраморное джакузи, в котором сидит распаренный хозяин.

– Конечно, проломится, – радостно подтвердил Юра. – Слушай, давай-ка сходим в баню. Закончим этот дом, получим бабки и... – Юра расправил свои могучие плечи и мечтательно улыбнулся.

XXX

Вечером дома Михаил сидел на стуле. Руки его со вздувшимися венами были безвольно опущены, черный вихор нависал на левую бровь. Он тупо глядел на раскрытый самоучитель английского языка. Никакие идиомы и глагольные времена не могли пробиться сквозь отборный мат русской стройки, бахающий в его ушах вместе с ударами молотков и взвизгиванием дрели.

Вздохнув, захлопнул самоучитель. К черту все! И английский – тоже к черту. Можно прожить и так, все равно – с языком ли, без языка. Жить нужно проще и легче. Главное – деньги.

Разделся, выключил настольную лампу. В комнату сквозь щель в двери проникал холодный воздух. Закутавшись в плед, он долго не мог согреться.

2

По вечерам приходил хозяин дома – хасид в потертом лапсердаке, в несвежей рубашке. Первые дни он заходил, подталкиваемый беспокойством: черт его знает, что за жилец поселился в его доме. Войдя, шнырял глазами по всем углам. Гм-гм, как будто порядок: икон нет, бутылок водки нет, голых женщин тоже нет.

Семейная жизнь хасиду была невыносимо скучна. Пятеро детей. И жена опять беременна! Сам он, владея несколькими домами, еще работал завхозом в иешиве. А там, где иешива, там, разумеется, книжечки на древнем иврите и бесконечное ожидание Мошиаха.

– Нужно ходить в синагогу, – говорил хозяин, присаживаясь на стул. Снимал свою шляпу, под которой покоилась приколотая к волосам потертая ермолка.

Михаил садился напротив. Хасид приглаживал пегую бороду и продолжал:

– Скоро придет Мошиах. Очень скоро. Для любого еврея лучше всего, если Мошиах застанет его в синагоге. Без синагоги еврей теряет ориентиры и начинает заниматься политикой, искусством или совершает преступления. Но еврей так устроен, что безбожником он все равно быть не может. Куда бы он ни попал, чем бы ни занимался, он всегда будет искать Бога. От еврейства отказаться нельзя. Это христиане сами выбирают своего Бога, а еврей Богом выбран, и этого избранничества отменить никто не может...

Сгушались сумерки. Завывал осенний ветер, о стекла бились виноградные ветки. Михаил, смертельно уставший, слушал, пытаясь вникнуть в эти смутные богословские тонкости. Он чувствовал какое-то глубинное родство с этим завхозом из иешивы. В его крови тоже порою гудело «Шма, Израэль!»

– Бу-бу-бу. Синагога. Бу-бу-бу. Мошиах...

Но когда Мошиах приходил по третьему разу, Михаил, широко зевнув, спрашивал:

– Сэр, почему вы так плохо отапливаете эту квартиру? Мне по ночам холодно.

– Я тепло не регулирую. В бойлерной установлен термостат, – отвечал хасид, и лицо его немножко грустнело.

– Тогда отрегулируйте термостат. Мошиах на подходе. Он не будет в восторге, узнав, что один бруклинский еврей заморозил другого.

Оба смеялись, и хасид удалялся, на выходе приложив пальцы сначала к губам, а потом – к мезузе на дверном косяке.

xxx

Затем их тонкое богословие неожиданно соскользнуло в иную, не религиозную область.

Хасидам смотреть телевизор Всевышний запретил. Еврей должен плодить детей, молиться в синагоге и ждать прихода Мошиаха. Хозяин-хасид следовал неукоснительно этим предписаниям. Но оказалось, что Мошиах уже пришел. Позавчера он вывел свой народ из Египта. А вчера разбил скрижали. А сегодня, овеваемый павильонными вентиляторами, указывал слабеющей рукой в сторону Земли обетованной. Звучала музыка, и обессиленный, убеленный красивыми сединами, Мошиах ложился на землю.

– Почему он лег? – спрашивал хасид, сидящий очень близко к телеэкрану. На его лбу от волнения выступала испарина.

Все двери в доме были плотно заперты, жалюзи на окнах опущены – чтобы ни одна душа вокруг не узнала о великом грехе.

– Он умрет? – спрашивал опять хозяин. По неопытности он не мог отличить киноусловность от реальности.

– Да, умрет, – отвечал Михаил, хмыкнув.

Подумать только! Дети таких религиозных российских евреев, приехав в Америку, когда-то создали Голливуд! Впрочем, и другие дети российских раввинов тоже когда-то ринулись в создание безбожного советского государства...

– Кто умрет? Моисей? – допытывался хасид, и ручейки пота стекали из-под ермолки по его блестящему лбу. Он мучительно пытался понять, кто же умирает на телеэкране – Моисей или актер?

– Да, – отвечал Михаил и снова косился на этого человека в лапсердаке, который владеет недвижимостью на несколько миллионов долларов, наверняка разбирается в сложных финансовых операциях, но никак не может понять, что такое Кино.

В квартире было жарко. Термостат, заново отрегулированный, работал отлично. Накануне просмотра последней серии приехала машина и через шланг закачала полный бак свежего мазута для отопления.

xxx

Светло-бежевый и совершенно великолепный «олдсмобиль» – со стертым протектором колес и разбитым зеркалом заднего вида – стоял в углу площадки автопарка иешивы.

– Very good car! – сказал хозяин-хасид. Порывистый ветер теребил поля его шляпы.

Михаил обошел машину вокруг, пнул ногой по колесам. Открыл дверцу и сел на порванное сиденье. Спидометр показывал ровно 222222 мили. Михаил повернул ключ в замке зажигания, прищурился. Послушал, как работает двигатель.

– Она не развалится по дороге? – спросил он хасида, который предлагал ему эту машину всего за триста долларов.

– Можешь проехаться.

Михаил толкнул рычаг и потихоньку нажал на педаль газа. Нужно будет привыкнуть к такой системе переключения скоростей, впрочем, довольно простой. Он сделал круг по площадке, мимо желтых школьных автобусов. Еще раз повертел руль. Люфт нормальный, движок, похоже, работает без перебоев.

Вышел из машины все же хмурый. Машина была нужна. Потому что трудно таскать на плечах сумку с инструментами. Бесконечно дожидаться поезда или автобуса. Но перед глазами возникло дерево, в которое врезался его «жигуленок», когда они с Олей возвращались из Крыма. Боже, как давно это было!..

– О`кей, забирай за двести баксов, – предложил хасид.

Михаил похлопал ладонью по железу капота.

– Я подумаю, – сказал он, хотя решение уже принял – покупает.

3

Мелькали станции метро. На стенах станций пестрели рекламы дорогих автомобилей, курортов. Жизнь, красивая и заманчивая, казалось, была рядом, только руку протяни.

– Идиотская страна! – возмущался Юра, усаживаясь удобнее на сиденье. – Не понимаю, зачем американцы устроили себе такую трудную жизнь?

Поезд грохотал. Михаил держал руки в карманах ветровки. Его ладонь согревал кожаный бумажник. В бумажнике лежал недельный

заработок. В бумажнике лежали четыре хрустящие сотни. В бумажнике лежали: старый «олдсмобиль», новая зимняя куртка, электродрель.

– А веники там дают? – перебил он Юру, который любил поразмышлять об отличиях американской и русской жизни.

– Дают. Баня – высший класс. Пять звездочек. Там все правильно.

Мелькали станции.

Юра говорил:

– Как они живут, эти американцы? Как в тюрьме. Мы-то думали, что в Америке свобода, а здесь все запрещено. Даже мусор позволено бросать только в свой мусорный бак. Я недавно бросил кулек в чужой бак возле какого-то дома, так выбежал хозяин и разорался. Угрожал, что вызовет полицию. Черствый народ. И наши люди здесь тоже очерствели.

Михаил согласно кивал. Однако как странно складывается его жизнь в Америке. Вчера вечером он вел богословские беседы с хозяином-хасидом. Синагога. Мошиах. Бу-бу-бу... А сегодня – едет с Юрой в баню. Париться. И непонятно почему, но равно тянется его душа и к местечковому хасиду с его темным богословием, и к этому Юре – русаку из глубинки, с упрощенными «правильными» понятиями.

Юра говорил:

– Или фотография. Недавно видел, как один американец разбил фотографу аппарат за то, что тот без спросу его сфотографировал.

Подошел полицейский, обоих выслушал и ушел. Сделать снимок без разрешения – это, оказывается, нарушить чье-то прайвэси.

Представляешь такое у нас, в России? Да у нас народ тебе еще заплатит – снимай в любом виде, без всяких прайвэси.

Михаил усмехался. Впрочем, что ж непонятного в том, почему ему нравится Юра? Юра широк. Не может его широкая натура втиснуться в узкие и сложные рамки американской жизни. Это иммигранты – с печатью униженности и подавленности на лицах, с вечной боязнью быть уволенными. Рядом с такими сам себя начинаешь жалеть. А Юра хочет жить широко – «по-русски». Когда Михаил рядом с Юрой, у него возникает ощущение, что Америка – это миф, а реальность – это Россия.

И еще: не может душа сразу привыкнуть к чужому. Больно. Ей нужна иллюзия чего-то родного и близкого. Нужен отдых. Правильный русский отдых.

Юра говорил:

– Или возьми моржей. Я недавно увидел, что такое американское моржевание. Вышли на берег человек пять, все – в шерстяных халатах и в сапогах на меху, с флагом «Клуб нью-йоркских моржей». Подошли к пирсу, воткнули флаг между камней. Сняли сапоги и халаты. Набежали фотографы. Моржи им попозировали, попрыгали, надели халаты и ушли. Публика повизжала и тоже разошлась. Вот и все моржевание, – Юра говорил очень громко, как многие русские в Америке. – То ли дело у нас: в Крещение выходили на лед, батюшка окунал крест в полынью, а потом все гуртом – бабы и мужики – раздевались и кто в чем – в футболках, в сорочках, даже голые – в ледяную воду... Ладно, вставай, нам на следующей выходить.

Минут через десять они шли по неприглядной улочке. Юра шел походкой борца-вольника, тяжеловато переваливаясь и быстро перебирая короткими ногами, а Михаил – немного вразвалку. Михаил устал, болело плечо, глаза от краски и пыли были воспалены.

...– Валя, срочно подгони еще пару девочек. Пришел клиент, – сказала по телефону кассирша, посмотрев вслед двум удалявшимся по коридору парням с вениками и простынями в руках.

XXX

В небольшой парной горела лампочка, окрашивая багровым светом деревянные стены, потолок и ступени, на которых лежали и сидели мужики, поблескивая мокрыми телами. В тазиках размокали веники.

– Я же говорил, что баня пятизвездочная, – произнес Юра, тяжело опускаясь на ступеньку. Он начал разминать колени, кожа по всему его телу быстро подернулась блестящей пленкой. – Я в этой Америке заработаю себе мениск. Думаешь, легко ползать целый день на карачках и класть эту чертову плитку?

– Слушай, зачем же ты здесь страдаешь? Без документов, без перспектив. Ждешь, пока депортируют? – спросил Михаил. Он сидел, опустив голову, старался ни о чем не думать, погружаясь в бездонную ленивую пустоту.

– Адвокат обещал сделать рабочую визу. Заработаю бабки, а потом...

Юра. Что он делал в Америке? Чего ждал? А мог ли он сам на это толком ответить?

В парной они остались вдвоем и могли говорить свободно.

– Знаешь, Мишаня, как я попал в Нью-Йорк? Нет, не со спортсменами. Меня там, в России, напарник подставил. Ограбил на триста тысяч баксов!

– Тебя, что ли? – Михаил покосился на крепкие подергивающиеся Юрины мышцы.

– Я там хорошо жил. Немножко зарабатывал грабежами на шоссе. Немножко разговаривал с неправильными бизнесменами. Имел пару своих закусовых. А потом напарник, сука, смылся в Штаты с общими бабками. Мне тогда на душу накатило такое отчаянье... Бухал, морды бил всем подряд.

– Денег было жалко?

– Нет. Деньги – мусор. Просто отчаянье накатило. Потом я сделал себе гостевую визу. Решил: вычислю этого козла здесь, в Нью-Йорке, и грохну его.

Блаженная нега полилась, наконец, по всему телу, Михаил размял свое больное, натруженное плечо.

– Ну, и нашел его, напарника?

– Пока нет. Вот и застрял здесь. Грузил ящики в овощном магазине, потом пошел в телохранители к хозяину одного русского кабака. – Юра умолк. Посмотрел перед собой. Проглотил слюну и вдруг перекрестился.

– Ты чего? – спросил Михаил.

– Да так. Историю одну вспомнил... Мы телохранителями вдвоем с Саней работали... В ту ночь я должен был выходить на работу, но я случайно встретил кореша и нажрался. Позвонил Сане, попросил его, чтобы он меня подменил. И Саню замочили... Света, жена его, потом рассказывала, что, когда приехала в морг на опознание, увидела его простреленную грудь и простреленную голову. Сказала, что Саня был избит. Кто же мог избить его, мастера спорта по боксу? Он бы троих в секунду раскидал. Значит, его сперва ранили, потом избивали, а потом

застрелили. И сделали контрольный выстрел в голову. Предупредили, значит, босса, что следующим будет он, – Юра сжал зубы, желваки запрыгали на широких скулах. – Я когда об этом узнал, сразу побежал в церковь ставить свечку. Ведь это могли нараз меня, вместо Сани... – он крепко зажмурился, вытер кулаками мокрые от слез глаза. – А-ах... Ладно, Мишаня, давай я тебе кости помну. А потом веником пройду. Ложись.

Скоро Михаил лежал на доске ничком. Чувствовал, как сильные Юрины пальцы разминают, словно глину, мышцы на его спине и плечах, как отливает свинцовая тяжесть.

– Светка, вдова, – баба неплохая. Она работает в баре «Голливуд» официанткой. Мы с ней немножко... кх-кх... – Юра игриво кашлянул.

В одном огромном джакузи расслаблялись молодые хасиды и русские бандиты. Хасиды – бледные, тощие, близорукие и в ермолках – громко разговаривали, возбужденно размахивая худыми, без мышц руками. Некоторые болтали по сотовым телефонам. Рядом с ними, широко раскинув на мраморных плитах свои мускулистые руки, разговаривали – так же громко – русские бандиты. Шеи их были увешаны золотыми цепями, блестели фиксы во рту, на крутых плечах синели татуировки.

Волновалась, бурлила горячая вода под напором компрессоров.

– Я же тебе говорил, что баня пятизвездочная, – сказал Юра, погружаясь в джакузи.

Михаил полез следом. Ну и публика здесь подобралась! Однако и его жизнь тоже складывается в таком странном диапазоне – между хасидами и бандитами.

Официантки в белых прозрачных пеньюарах с глубокими вырезами подавали мужчинам в бассейне рюмки с водкой и соленые огурцы.

– Please, – сделав пометки в своих блокнотах, девушки удалялись, виляя бедрами. Сквозь ткань их пеньюаров просвечивали кружевные трусики.

Потом, завернувшись в простыни, Михаил и Юра сидели в ресторане. В тарелках дымились шашлыки и жареная картошка. Рюмки до краев были наполнены водкой «Абсолют», подозрительно вонючей. Во рту жгло то ли от слишком острых приправ, то ли от водки. В зале появлялись все новые полуголые официантки и куда-то уводили клиентов.

– Мне почему теперь нравится жить в Америке? – говорил Юра, опрокидывая залпом рюмку. – Здесь бабки можно зарабатывать честно и медленно, по сотке в день. А в России так жить запахло. Я если туда вернусь – сразу же захочу штуку в день, не меньше.

– Да...

– А думаешь, легко держать себя в узде? Думаешь, легко?!

... – Мальчики, к вам можно?

У нее, подсевшей к Михаилу, были прямые желтые волосы, губы накрашены ярко-красной помадой. В ее лице было что-то лисье – острый носик и узкий подбородок. Та, что под села к Юре, была подурней, и Михаил со злорадством подумал, что ему повезло.

– Как попарились, мальчики? – спросила лиса и под столом положила свою руку Михаилу на колено.

И не было никакой радости и никакой красоты в ее ярко-красной улыбке и в дешевом просвечивающем пеньюаре. И голос ее был отвратительно фальшивым.

– А с вами приятно сидеть, не то, что с пейсатыми, – сказала она. Ее ладонь нырнула в щель простыни и поползла вверх по ноге Михаила. – Хочешь массаж?

– Сколько?

– Сто баксов в час.

В крохотной комнатке стоял широкий топчан, застеленный чистой простыней.

– Подожди минутку, – сказала проститутка и вышла.

Михаил сел на топчан. «Сейчас войдут и грохнут меня. Но на черта я им нужен? Черт их знает». Мысли его, мутные и бессвязные, шевелились в отяжелевшей голове. «Мошиах. Синагога. Бу-бу-бу... Контрольный выстрел в голову. Отпевание. Кладбище. Бу-бу-бу...»

Она вернулась, закрыла за собой дверь на задвижку.

– Все в порядке. Деньги отдашь после, – живо расстегнув пуговицы, сбросила с себя пеньюар. И выключила свет.

...Через несколько часов Михаил ехал в машине по какой-то плохо освещенной улице, сидя на переднем сиденье. Водитель-араб нервно дергал руль и косился на пассажира. Михаил вглядывался в лобовое стекло. Видел повсюду одни потухшие окна, трущобы. На дороге горел автомобиль, возле него негры кого-то избивали ногами.

– Сука! Ты куда меня везешь?! – вдруг заорал Михаил по-русски.

– А-а-а... – араб-водитель, сам перепуганный, что-то невнятно отвечал, тряс головой, и Михаил догадался, что водитель не знает дорогу.

– Назад! Разворачивай! – кричал Михаил то на русском, то на английском.

Взвизгнули тормоза. Машина круто развернулась и помчалась назад.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Начало октября – золото Нью-Йорка. Ранним утром верхние этажи небоскребов еще окутаны дымкой тумана. В воздухе дрожит легкая прохлада. Высыхает и обессилевает плющ, ползущий по скальникам. К бровкам тротуаров ветер прибывает сухую листву...

Лиза шла по аллее Центрального парка. Поскрипывали колеса ее тележки, нагруженной этюдником, бумагой и паспарту.

Вдали, возле старого высокого клена – фигура Акопа. Вернее, видно только его левое плечо из-за этюдника. Он бесконечно курит, высох от курева. Акоп – мэтр, берет за портрет почти втрое больше, чем другие художники в аллее. Акоп знает, что в аллее ему все завидуют, и эта черная зависть бездарей его нисколько не смущает. Даже немножко льстит его тщеславию. Акоп понимает, что клиенту, в общем-то, плевать, нарисуют его кистью или углем, с полутонами или без. Главное – чтобы красиво. Акоп усложняет и мастерски облагораживает лица. Правда, все его клиенты, независимо от национальности, на портретах становятся похожими на армян. Отдаленное сходство с оригиналом все же сохраняется.

Иногда, разделавшись с очередным клиентом, Акоп долго размышляет: до чего же загадочно устроены лица этих янки – роговица не у верхнего века, а у нижнего, даже тени – па-анимаете?! – тени не лежат у глаз. Вах! Трудно, значит, превратить янки в армянина. Трудно. Но можно.

Акоп пишет методом сухой кисти. Лиза попробовала, но вскоре отказалась от этой техники. Нужна резкость удара, постоянный нажим. Сложно. К тому же получается несколько манерно. Лизе по вкусу простые линии, но не резкие, не проволочные. И еще – у Акопа лица возникают из мрака. Не из света.

– Здравствуй, Лиза-джан, – он поднял руку с дымящейся сигаретой.

– Привет, – она остановилась, бросила взгляд на лист. Там уже появились вьющиеся локоны вокруг овала ее лица.

– Была вчера у адвоката. Хотела узнать, какие есть варианты, чтобы мне легально остаться в Америке.

– И что он советует?

– Сказал, что теоретически можно добиться права на жительство как «особо одаренный художник». Но для этого нужны, как минимум, персональные выставки и «корочки» из Союза художников, чего у меня нет. Адвокат мне советует оставаться в фиктивном браке с моим бывшим мужем, пока не получу гринкарту. Но мне от моего мужа ничего не нужно, ничем не хочу его связывать. Так что, будущее мое туманно.

Вдали, по отлогому холму, спускался прогулочный конный экипаж.

– Вчера приходил Алеша-джан. Искал тебя, – Акоп хитровато прищурился, затаился, и треть сигареты превратилась в пепел. – Хороший он парень.

– Да, хороший, – отозвалась она.

Экипаж удалялся, сворачивал к озеру, цоканье копыт едва доносилось. Лиза смотрела вслед, и вдруг увидела себя в той карете. Зимой. В шубке и ботиках. Морозный воздух обжигает лицо и открытую шею. «...И голос женщины влюбленный, и хруст песка, и храп коня...» – прозвучала вдруг строчка любимого стиха.

Очувшись в Нью-Йорке, Лиза как-то вмиг забыла все стихи. Даже Цветаеву и Блока, хотя, казалось, может забыть все, даже имя свое, но стихи – никогда. Приехала в Нью-Йорк и на следующий же день, как огрело чем-то: «How are you doing? Great! Terrific!» Чужие слова вдавливались в сознание, и под их непомерной тяжестью сломалась, исчезла музыка русского стиха. И вот, впервые за полтора года, – прорвалась строка. И с этой строкой словно воскрес призрак ее самой, той Лизы, которая когда-то воображала себя дамой влюбленного поэта... И храп коня... И колокольцы...

Непонятное, очень странное настроение у нее сегодня. Какая-то тревога, волнение. Даже голова не болит.

– В Америке всегда так. Вначале кажется, что все легко и доступно. А когда сделаешь первый шаг и столкнешься с реальностью... нэ дай Бог, – Акоп покачал головой.

Он водил кистью, и с листа осыпались черные крупинки сухой краски. Потом взял резинку и стал снимать черноту с глаз, с губ, со лба. Женское лицо, до сих пор погруженное во мрак, постепенно светлело.

– Что здесь за жизнь? Рабство, да и только. Каждый месяц плати: за съём квартиры, за медстраховку, дочкам за колледж. Бесконечные счета. Какие-то дурацкие проценты, штрафы, налоги. Бухгалтером нужно быть, чтобы во всем этом разобраться!

– Да, Акоп, ты прав, – Лиза склонила голову, приглядываясь к портрету. Эта девушка ей положительно нравилась.

Подошла пара. Взглянули. Разумеется, «fantastic!» Спросили о цене одного портрета. Через минуту напротив Акопа сидела женщина с бесцветными глазками и пухлыми губами. Скоро она станет знойной армянкой.

– Спасибо, Лиза-джан, сегодня ты привела мне первого клиента, – сказал Акоп, отдавая Лизе ее портрет.

Она прошла вглубь аллеи. Заняла свое место, где на асфальте валялись смятые кнопки и один цент, суеверно оставленный ею в прошлый раз. Установила треногу.

К ней подошел какой-то мужчина, обронил несколько фраз, расхохотался и ушел. Алеша говорит, что американцы обладают великолепным чувством юмора, такого юмора, который иммигранту по многим причинам оценить трудно. Лиза их юмора, разумеется, не понимает, ей вообще не до шуток. За портрет она берет всего лишь пятнадцать долларов, а тратит на него больше часа. К тому же бесплатно отдает паспарту, которое обходится ей в три доллара. И поездка в метро. И съём квартиры. И самая дешевая помада, которая сворачивается на губах. И маме в Киев – двести долларов.

Да, нищета. Но ни разу не жалела она, что ушла от своего обеспеченного мужа. Думала, что сможет прожить с ним и без любви.

Старалась обмануть себя. Не получилось, однако... Он иногда звонит, просит вернуться, на что-то надеется.

Снова донеслось цоканье копыт, на склон выезжал конный экипаж. Зима скоро. Наверняка, сырая и промозглая. А хорошо бы – чтобы с ветрами и метелями... Карета. Шубка. Ботинки... И в кольцах узкая рука. И грудь волнуется. И сердце почему-то ходуном.

Этюдник закрывал ей асфальтовую дорожку, по которой шел Алексей. Он остановился возле Акопа. Лиза заметила его. И вдруг с ужасом подумала, что не видела Алексея целую неделю! Когда он направился к ней, Лиза резко наклонилась. Чтобы поднять центовую монетку, которая ей вовсе не была нужна. Испугалась почему-то, что он увидит сейчас ее глаза. Неподведенные. С темными кругами после бессонной ночи. И носки туфель совсем истерлись...

2

– Никогда не думала, что в Нью-Йорке есть настоящие замки, – Лиза поправила на голове кашемировый шарф. – Всегда считала, что высшее достижение Нью-Йорка это небоскребы.

– В общем-то, да, выше некуда. Но здесь есть и замки. К примеру, этот замок Рокфеллер когда-то купил и вывез из Европы. Время было такое, удивительное, в конце девятнадцатого века: американские миллионеры – Морганы, Вандербилты, Рокфеллеры – пожелали стать аристократами. Со всеми атрибутами – с гербами и замками. Деньги, оказывается, еще не все. Когда их очень много, то хочется чего-нибудь особенного, для души, – Алексей бросил сигарету под ноги.

– Просто этим миллионерам было смертельно скучно, – заключила Лиза.

Парк, ведущий к замку-музею, весь был изрезан узкими петляющими дорожками и лестницами. Под легким дуновением ветра осыпалась листва с деревьев, с крон слетали бронзовые бабочки.

– Странно, вот – скала, почти нет земли, а дерево каким-то чудом пустило корни и умудряется жить, – Алексей остановился возле невысокого уступа, на котором рос дуб. Из-под земли выглядывали оголенные корневища, настолько мощные и толстые, что не умещались в тонком слое земли. – Зато такой дуб уже из этой скалы не вырвешь, прочно засел.

И мысль снова свернула к наболевшему. Ведь и у человека тоже так: не без труда и не сразу он познаёт другого. Ведь не бывает ничего без кровавого пота и усилий. Ни любви. Ни искусства. Ни Бога. Зато потом...

Алексей нащупал в кармане упругий фильтр сигареты, долго щелкал зажигалкой, пока не вспыхнул огонек. Вот еще вопрос: почему, когда Лиза рядом, он никогда не может нормально закурить? То спички шипят – отсырели, то зажигалка щелкает, а кремь стерся.

Они поднялись по лестнице. Показались темные башни замка. Лиза взяла Алексея под руку:

– А этот замок отсюда хорошо смотрится, вписывается в ландшафт, – сказала и вдруг подумала, что рядом с Алексеем она всегда забывает о своих проклятых проблемах – о дурацких визах, деньгах, о своей неустроенности. И становится собой. Алеша – верный чичероне, дарит ей Нью-Йорк. Тот Нью-Йорк, в который сам когда-то, наверняка, вживался не без труда...

Но ее рука вдруг выскользнула. Лиза неожиданно отстранилась от него. Почему? Может, потому что захотела сейчас обнять его крепко и... – гори огнем этот Рокфеллер со своим замком! – целовать, целовать вечность, в губы, в глаза, в длинные ресницы... Шубка... ботики... колокольцы...

Сама испугалась этого желания. Ведь ложь все это. Нет колокольцев. Есть страх одиночества. Вот и придумала она себе этого влюбленного поэта. Потому что сил у нее больше нет. Сейчас ей хорошо, она даже уверена, что вечером поедет к нему. Но что же будет потом? Новый холод одиночества?..

Или потому, что она нищая, безъязыкая нелегалка? Поэтому с ней можно так – легко?

Ей захотелось повернуться и уйти. Сейчас. Немедленно. И больше никогда – слышишь?! – никогда...

– Мама пишет, что в Киеве выпал первый снег, – промолвила она тихо.

Желваки дрогнули на скулах Алексея. Он почувствовал, что миг назад они едва не расстались.

– А в Нью-Йорке еще тепло.

Всегда поражался, как Лиза преображается возле картин. Не раз они вдвоем ходили по залам музеев. Алексея картины так не волновали. Вообще, если начистоту, не разбирался он в живописи. Пытался искать в картинах историческую достоверность, сюжет, идею. Утешал себя тем, что его писатели-кумиры – Толстой и Достоевский – тоже разбирались в живописи довольно слабо. Ни черта они в ней не понимали. Зато Тургенев... о-о, тонкая эстетическая косточка,

десятками лет плакал в своих Парижах и Риме перед полотнами великих итальянцев.

Такие, вовсе не подходящие к моменту мысли бродили в мозгу Алексея, когда они переходили из зала в зал. А перед его глазами в это время как-то отстраненно мелькали Мадонны, ангелы, волхвы, Лизины нежные руки.

Лиза не умолкала. Живопись раскрепощала ее. Она разговаривала с картинами, иконами и их создателями на одном языке. Итальянском ли, греческом – своем, Алексею непонятном.

И гулко отзывался ее голос в этом почти пустом замке, где под позеленевшим гербом зияла пасть камина, погасшего сотни лет назад. И мягко шуршала ткань ее расстегнутого плаща, и в руке ее болтался шарф.

Вошли в часовню. Тихо. Сумеречно. Сквозь крохотное витражное оконце льется серовато-синий свет. Лиза зачем-то набросила на голову шарф. Перекрестилась.

Алексей запомнил ее такой: голова покрыта черным. Крестится у Распятя.

Еще никогда он не говорил с нею о вере. И никогда не спрашивал, почему у нее крестик на груди. И почему... он любит ее сейчас так, словно увидел впервые?!

– Ты хорошо вписываешься в этот... интерьер, – сказал он.

Она улыбнулась:

– Знаешь, я в детстве играла в «монастырь», представляла себя монахиней. Исповедовала свои конфетные грехи архангелу Михаилу. Его икона висела у нас в спальне. Бабушкина икона, – сказала Лиза, когда они вышли во дворик.

– Твоя бабушка была православной?

– Нет. Во время войны ее спас священник, прятал в женском монастыре. Я помню, правда, смутно, как в последний год перед смертью бабушка ходила то к раввину, то к священнику. А потом, вернувшись домой, рассуждала вслух об их словах. Мне тогда было тринадцать лет, вопросы Бога и смерти меня, естественно, не занимали. Это теперь, в мои тридцать пять... – и осеклась. Дура! Разве женщина говорит вслух о своем возрасте?!

Подошла к чугунной ограде. Зажала в кулаках холодные прутья и прижалась к ним. Она знала, что Алексей стоит сзади, в полушаге, но не оборачивалась.

Камешек хрустнул под его ногой.

– Мы забыли в машине твои перчатки, – произнес он, не понимая, зачем кладет ей руки на плечи, зачем стягивает с ее головы черный кашемировый шарф...

Во дворике немолодая дама пила «пепси-колу» и удивленно смотрела, как у чугунной ограды слишком долго и слишком откровенно целуются какие-то двое. Не подростки. И вроде бы интеллигентного вида.

... Утром он ушел. А Лиза сидела у себя в квартире перед зеркалом. Любит ли она его? Нужен ли он ей? И зачем ломать привычный строй своей жизни? Опять обжечься?..

Она хотела заранее утешить и пожалеть себя. Потому что боялась. Боялась, что правда, которую она сейчас откроет, окажется горькой и причинит ей боль.

Вдруг посмотрела в зеркало. И увидела там другую Лизу – молодую, счастливую.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Утром Алексей ехал в Федеральный криминальный суд. Задание, которое он получил, и радовало, и смущало. Радовало, потому что хозяин газеты решил, наконец, повысить ему зарплату. Прекрасно, тем более сейчас, когда нужно подыскать другую квартиру – чтобы не у кладбища, и мебель прикупить, и шубку Лизе, и ботики.

А смущало потому, что предстояло заняться судебным репортерством, и процесс, похоже, намечался громкий. И никто еще, ни одна душа не знала, сколько этот суд продлится, чем закончится и что будет дальше.

К фасадной стене здания суда прирос бронзовый орел. Раскинув мощные крыла, держал в когтях масличную ветвь и пучок стрел. И всем своим видом этот грозный птах давал понять: в США с властью шутить не стоит.

Алексей поднялся на второй этаж, в судебный архив. Там за столами посетители просматривали документы, делали записи.

– Чем могу вам помочь? – спросил клерк.

– Мне нужны материалы одного дела. Я – журналист, вот удостоверение.

Вскоре Алексей получил увесистую папку дела под семизначным номером. На первом листе в верхнем углу стояло: «Соединенные Штаты Америки против Станислава Николаевича Маханькова». Далее указывалось, что судья отказал в ходатайстве адвокатов об освобождении их клиента под залог в миллион долларов. Из чего

следовало, что этот самый Станислав Николаевич сидит в тюрьме и ждет суда.

Слушания должны были начаться со дня на день, в судебном зале уже шел отбор присяжных.

Появлению этого загадочного Станислава Николаевича в Нью-Йорке с его дальнейшим заключением в тюрьму предшествовали некоторые любопытные события, на первый взгляд, мало связанные между собой.

xxx

А все началось с того, что однажды утром к одному высотному зданию в Манхэттене подъехал вэн. Из машины вышли фотограф, оператор и какой-то тип с веревкой в руках. Они позвонили в квартиру владельца дома, а потом все вместе поднялись на крышу.

Невысокий мраморный Ленин стоял на постаменте, указывая рукой в сторону Уолл-стрит. Оператор обошел Ленина вокруг, почесал затылок и промолвил: «О`кей». Фотограф вытащил из кофра фотоаппарат, а третий тип набросил на шею мраморному Ленину веревку и натянул ее. Защелкал фотоаппарат. Вскоре группа покинула крышу, предварительно расплатившись с владельцем дома за использование скульптуры, которую тот когда-то, потехи ради, купил в Чехии, привез и установил на крыше своего дома.

Скоро по всему Нью-Йорку висели плакаты: в кровавом зареве мрачно светился лик мраморного Ленина с удавкой на шее. Надписи предупреждали, что российская коммунистическая империя еще окончательно не повержена и может возродиться.

В это же время на Капитолийском холме, в Конгрессе, за плотно закрытыми дверями конгрессмены выслушивали высокопоставленных агентов ФБР. Агенты говорили о новой мафии – русском спруте, который после развала советской империи распускает свои щупальца по всей Америке. Агенты уверяли, что этого монстра нужно задушить в зародыше, чтобы не повторилась история 30-х и 60-х годов, когда власть в США едва не перешла в руки итальянской мафии. Агенты ФБР предоставляли доказательства, просили у Конгресса новые средства и широкие полномочия. Конгрессмены соглашались и средства, не скупясь, выделяли.

Потому что никто тогда не знал, чего ждать от новой и вечно непонятной России: реставрации коммунизма – там, в России, или русских гангстеров – здесь, в Америке? Тревожные, порою необъяснимые события с вихрями, песнями и стрельбой происходили в Москве и в Петербурге. И сложно было разобраться американским конгрессменам, как же теперь относиться к России, которая десятки лет была врагом.

Приблизительно в это же время из одного лагеря на Дальнем Востоке вышел на свободу известный рецидивист, вор в законе – Станислав Николаевич Маханьков, отсидевший в тюрьме десять лет вместо полагавшихся пятнадцати. Досрочно освобожденный, он прибыл в Москву, поблагодарил братву за башли, которые они правильно дали правильному человеку в правительстве, и пожелал собрать воровской сходняк. На сходке порешили: оформить документы и отправить уважаемого вора в законе Станислава Николаевича в далекую Америку, в Нью-Йорк. Для наведения там порядка.

В Нью-Йорке Маханьков основал несколько липовых фирм, на счета которых потекли из России доллары. Сомнительные, скажем, доллары. Заработанные на торговле оружием и наркотиками. Собранные у обманутого населения. Выбитые у российских бизнесменов вместе с их ровными белыми зубами.

Маханьков обладал всеми способностями, необходимыми для наведения порядка. И, разумеется, авторитетом. Очень скоро владельцы русских магазинов и ресторанов в Нью-Йорке согласились платить деньги только его братве и никому другому. Все происходило спокойно, по-деловому: коротко остриженные парни в кожаных куртках подходили к владельцу магазина или ресторана и тихо, но внятно произносили: «Если Станислав Николаевич курирует это дело, то изменить уже ничего невозможно». Этой волшебной фразы с упоминанием имени Маханькова было достаточно, чтобы владелец кабака, вытирая холодный пот со лба, бормотал: «Да-да, я понимаю, изменить ничего невозможно...» С теми, кто почему-то сразу не соглашался, Маханьков разбирался проверенным способом – отдавал приказ убить телохранителя, как предупреждение хозяину.

Коренные брайтонские бандиты быстро смекнули, что за грозная туча приплыла из далекой России. Им, старожилам, уголовной красе и гордости Брайтона, пришлось без боя сдать улицы «маленькой Одессы на Гудзоне». Ведь брайтонские бандиты обладали только собственными мышцами и пистолетами. А за Маханьковым стоял великий и могучий российский криминальный мир.

Последним пунктом его триумфального шествия в Нью-Йорке должна была стать Уолл-стрит. Конечно, не улица и не сама фондовая биржа, а те российские инвесторы, которые, правдами и неправдами

переправив в Америку миллионы долларов, вкладывали их в биржевые акции.

Но и с инвесторами Маханьков действовал по-старинке грубо, забывая, что Уолл-стрит – не зона. А там ведь и федеральные агенты, и службы надзора, и скрытые камеры.

Час его пробил. Маханькова накрыли утром, в бруклинской квартире. Пронюхавшие об этом аресте журналисты собрались возле его дома. Станислав Николаевич шел в наручниках в сопровождении двух задумчивых агентов ФБР, сохраняя завидное присутствие духа. Вдруг резко взмахнул ногой, попытавшись выбить камеру у одного тележурналиста. Его отвезли в тюрьму, а журналист помчался продавать заснятые кадры телеканалу SBC, где их потом прокручивали тысячи раз.

Такие вот, на первый взгляд, не связанные между собою события неожиданно сплелись в единый клубок и затянулись тугими узлами. Заинтересованных лиц оказалось слишком много, ставка за свободу или заключение подсудимого была высока для всех – для агентов ФБР, для новых идеологов в Конгрессе, для российских гангстеров и для их жертв. И, разумеется, для самого Маханькова, которому совершенно не хотелось сменить знакомые жесткие нары в Магадане на незнакомые мягкие, но все равно – нары, в Нью-Йорке.

.....

Алексею же этот, еще не начавшийся, суд уже принес дополнительных сто долларов в неделю. Он сделал копии некоторых страниц и, вернув документы, поехал домой.

Машина свернула с трассы, и вместе с нею разъехались в разные стороны мысли Алексея. Одна мысль, сокровенная, устремилась к

Лизиным глазам. Глубокие, темно-карие глаза. И зрачки – не круглые, а будто бы чуточку овальные. Никогда не видел таких. И когда шурышала спадающая юбка, смотрели эти глаза под черными ресницами смущенно и огненно.

А вторая, злая мысль холодом ползла в Бруклинский федеральный суд. Уж очень внушительно и грозно выглядела папка дела под семизначным номером.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Увядание осени и приход холодов в Нью-Йорке отмечены многими приметами. Конечно же, ветер. Хлесткий и наглый, ветер прошивает, пробирает до самых костей.

В Манхэттене на стены зданий натягивают паутину иллюминации, деревья опутывают крохотными лампочками. Из гаражей и с чердаков вытаскивают Рождественских пластмассовых оленей. В кабинетах специалисты уже подсчитывают, сколько денег горожане потратят на подарки. На перекрестках звонят колокольчиками добровольцы из «Армии спасения», взывающие к милосердию прохожих: «По жертвуйте хоть цент на нужды нищих и бездомных». В городе больше туристов. Бесконечные гастроли театров. Шумно. Холодно. Ветрено.

О том, что осень увяла красиво, печально и, как всегда, быстро, свидетельствует и аллея в Центральном парке. Там пустынно.

Из художников последним аллею покидает Акоп. Высохший и выработавшийся за «теплый» рабочий сезон, он еще появляется с этюдником. Колдует кисточкой над листом бумаги...

Аллея пуста. Акоп зябко передергивает плечами, вытирает кисточку, складывает этюдник. Бросает последний взгляд вокруг.

Голые ветки. Запах дыма. Тишина. Акоп застегивает до самого верха молнию пуховой куртки, выбрасывает сигарету и идет к подземке. В тишине поскрипывают колеса его тележки...

2

В поисках места для парковки Алексей долго ездил вокруг небоскребов, пока не оставил машину на дорогой платной стоянке. «Лучше сюда ездить на метро, иначе разорюсь». Недовольный, он шел к уже знакомому зданию суда.

Диктофон и фотоаппарат пришлось сдать в камеру хранения. Слушания должны были начаться в половине девятого, но двери зала почему-то были закрыты, в коридоре топтался народ.

– Задерживают на час. В этой Америке ба-ардак, еще хуже, чем у нас, в России, – сказал небритый мужичок в мятом костюме.

Алексей прошел по коридору, заглянул в один из пустых залов. Сев там на скамью, достал книгу в зеленом коленкоровом переплете с оттиснутым профилем Тургенева. Перечитывал в который раз «Дворянское гнездо».

«– Это все в Божьей власти, – промолвила она.

– Но вы меня любите, Лиза? Мы будем счастливы?»

Алексей читал, широко раскрыв глаза, изредка моргая, отчего лицо его принимало диковатое выражение. Он читал про героиню романа с гибким девичьим станом и тонким русским профилем, которая исчезала в беседках тенистого сада, писала письма при свече, а видел другую Лизу – свою.

Странные, очень странные и не подходящие ни к месту, ни ко времени образы и картины виделись ему здесь, в пустом зале суда. Вообще-то, не классические романы надо бы ему сейчас читать. Ведь с минуты на минуту начнется суд над российским криминальным авторитетом.

А ежели Алексей такой книголюб, лучше бы купил себе другую книжицу – простую и правдивую. «Москва бандитская» называется. И прочитал бы там занятные истории о жизни знаменитых российских бандитов. Среди прочих, кстати, там целая глава посвящена и Станиславу Николаевичу, его геройствам на воле и в зоне. Впрочем, и читать-то не обязательно. Достаточно взглянуть на фотографии самого Маханькова в наряде зэка, а еще лучше – его жертв: обмякшие изуродованные тела, перекошенные лица, бессмысленно раскрытые рты. И дырка во лбу. И всё, и никакой романтики.

Такую книгу следовало бы читать перед тем, как идти на слушания в Федеральный суд. Никудышный он газетчик, Алексей. Его по старинке волновали темные аллеи, тени у глаз, легкое дыхание в женской груди...

XXX

Все скамьи в зале были заняты. Не хватало мест, пришедшие стояли в проходах. Поначалу в разношерстной толпе сложно было различить, кто – из братвы, кто – из ФБР, кто – журналист. Сомнения не вызывали лишь художники: парень и девушка богемного вида цветными мелками делали наброски.

– Сколько стоит один такой скетч? – спросил Алексей у девушки.

– Двести баксов, – ответила она, не поднимая головы.

Алексей на миг представил Лизу судебным художником.

Подсудимые у нее наверняка получались бы все одинаково задумчивыми, раскаявшимися, а главное – несчастными. Но уж никак не такими законченными уркаганами со звериным оскалом. Завтра эти скетчи появятся во многих американских газетах.

Маханьков сидел в окружении трех лощеных адвокатов – известных нью-йоркских специалистов по уголовным делам. За прокурорским столом, кроме государственных обвинителей, сидели надутые и безликие агенты из вновь созданного отдела ФБР по борьбе с русской организованной преступностью. В центре – судья в черной мантии.

И двенадцать присяжных: белые, негры и один мулат. Им-то, этим двенадцати, нынче предстояло отойти от привычного мира – босс, банк, бейсбол. Им предстояло войти в мир иной – в звонкие дубравы, а точнее, в дремучие, непролазные буреломы российской криминально й жизни – башли, бабы, братва.

...Речь прокурора была суха и убедительна. Картина преступления вырисовывалась следующая: российский бизнесмен открыл на Уолл-стрит инвестиционную фирму «Граф». Московский банк перевел пять миллионов долларов, чтобы через эту фирму купить

на Уолл-стрит акции. Граф долго размышлял, как лучше распорядиться деньгами, но акции почему-то не покупал. Московские банкиры все настойчивей просили либо купить акции, либо вернуть им долг, но Граф упорно отказывался. И тогда в его офисе вдруг появились люди Маханькова. «Если Станислав Николаич взял под контроль это дело, то изменить уже ничего невозможно», – сказали они, криво улыбнувшись. И от этой улыбки на лбу Графа выступил холодный пот, точно такой же, какой обычно выступает при обмороке. «Да-да, я понимаю, изменить ничего невозможно», – промямлил он. «Завтра же переведете деньги на наши банковские счета». На следующее утро Граф, как и обещал, поплелся в банк, но по дороге вдруг круто изменил маршрут и помчался в отделение ФБР, за помощью.

– Подсудимый Маханьков преступным путем попытался присвоить себе пять миллионов долларов, – закончил прокурор.

Зловещая тишина повисла в зале. Сотни глаз сошлись на одной точке – на скамье подсудимых, где в окружении адвокатов сидел маленький человечек с аккуратно подстриженной бородкой, в очках с затемненными линзами. В элегантном костюме и при галстук. И казалось, что место этому милому человечку не на скамье подсудимых, а за кафедрой Гарвардского университета. Человечек важно приподнял очки, прищурился и недовольно зацокал языком.

Все, казалось бы, ясно. Но после речи адвоката ясность стала исчезать, и на лицах присяжных появилась тень недоумения.

Ведь и Граф – скотина порядочная. Пообещал московским банкирам прибыль, а сам отдыхал на лазурных берегах Флориды, развлекался с любовницами, разъезжал на лимузинах. И всё – на чужие деньги. Спустил все миллионы. Обокрал, стало быть, россиян. Они там,

в России, говорят, с голоду пухнут. Но, оказывается, и московские банкиры – жулье. Продавали водку без лицензии, незаконно приобрели золотые прииски, торговали наркотиками и оружием. И еще в этом деле замешаны два депутата Госдумы и какие-то «солнтсеуфские» бандиты...

Тяжелой грустью наливались честные глаза присяжных. Безумцы, они еще пытались вникнуть если не в тонкости, то ухватить хотя бы в общих чертах суть дела. Но проклятая суть уходила все дальше – за далекие леса, за синие горы.

Первым пал мулат. Он долго сопел и даже незаметно раскрывал пальцами веки. Но после перерыва, после плотного обеда, бороться со сном уже не смог. Моргнув в последний раз, мулат закрыл глаза и склонил головушку, отяжеленную новыми, совершенно ненужными для него сведениями.

– Мой подзащитный – узник совести. Он сидел в лагере так же, как Солженицын и Щаранский. Он – жертва Кей-Джи-Би, – уверял адвокат.

Блестящий адвокатский спич неожиданно прервал старшина присяжных. Он обратился к судье со странной просьбой: нельзя ли каким-то образом облегчить понимание столь запутанного дела, внести ясность хотя бы в имена и прозвища. Дескать, некоторые присяжные утеряли нить повествования, поскольку непонятно, кто такой Прыщ и связан ли он с Солженицыным.

После перерыва в зале появилась огромная белая пластиковая доска. На ней сверху красным жирным фломастером было написано: «Станислав Николаевич Маханьков» и его десять воровских кликух. Граф, кстати, тоже оказался не без кличек, их также записали на доске.

Судья объявил, что в эту таблицу будут вписываться только имена и клички тех лиц, которые имеют непосредственное отношение к делу. Поэтому Солженицын и Щаранский в списки не попали. Зато появились какой-то Магадан и Вова-Ужас.

XXX

Перед тем как ехать в редакцию, Алексей зашел в бар неподалеку от здания суда. Безвольный он человек – не может пройти мимо, чтобы не выпить кофе в приглянувшемся баре. Достав сигарету, пододвинул к себе пепельницу.

Итак, суд. Если отбросить умышленную адвокатскую путаницу, налицо – чистейший рэкет. Граф – кутила и вор, промотал чужие деньги. С ним все ясно. Что же до Станислава Николаевича, до этого узника совести... Алексей прищурился, словно увидел маленького человечка на скамье подсудимых: очки в золотой оправе, профессорская борода. Но если взглядеться – что-то гнусное, крысиное в этом лице. Убийца, да и только. Главварь убийц.

XXX

На следующее утро слушания тоже почему-то задержали. Пришедшие толпились в коридоре, шушукались. Алексей заглянул в соседний зал, где стены были аляповато расписаны патриотическими сюжетами.

Здесь, да, похоже, здесь, в этом зале, он и его родители когда-то присягали на верность государству США. В зале тогда набилось человек двести – латиноамериканцы, русские, евреи, китайцы...

Пришла судья и зачитала «Клятву верности». Двести человек повторяли за нею слова, далеко не всегда понимая их значение. Иммигранты становились гражданами. God bless America – «Бог, благослови Америку»...

Алексей поглядывал на стоящих рядом своих родителей, тоже присягавших на верность США. Оба – отец и мать – держали правую руку на сердце и говорили о том, что «если понадобится, то они готовы с оружием в руках защищать эту страну». Было в этом что-то комичное и до боли трогательное. Два старика, когда-то пережившие эвакуацию, голод, нужду и унижения, в прошлом – патриоты той страны, отдавшие той стране все силы и молодость, на склоне лет приехали в Америку, где их подлечили, дали им хлеб и кров, и теперь они клянутся защищать Соединенные Штаты с оружием в руках...

xxx

И снова полный судебный зал. Всё – как вчера. Прокурор, подсудимый, двенадцать присяжных с уже унылыми лицами. Впрочем, произошли некоторые малозаметные изменения. Публика рассортировалась: скамейки в правом крыле занимали журналисты и агенты ФБР, в левом – братва.

Маханьков внимательнейшим образом изучал прессу. Целый ворох свежих русских газет лежал перед ним на столе. Он периодически делал какую-то пометку на листе бумаги и недовольно

цокал языком. А порою читал и улыбался. Кто знает, может, испытывал какое-то особое тщеславное наслаждение этот маленький крысopodobный человечек. Ведь имя-то его как громыхнуло – от Вашингтона до Москвы, от одного океанского побережья до другого!

В зал вошли двое итальянских громил. Приблизившись к перегородке, посмотрели на крестного отца русской мафии. Ха! Шумуто. Разве это дон? Это же – бамбино, блоха, такого можно и ногтем раздавить. Вечно эти газетчики наплетут: дескать, русская мафия в Нью-Йорке скоро вытеснит итальянскую. Передернув могучими плечами и презрительно хмыкнув, итальянцы вышли – этажом выше слушалось дело одного капо из мафиозного клана Готти.

– Судья входит в зал. Просьба встать! – рявкнул маршал.

И потянулись, потекли бесконечные допросы и показания.

Алексей делал пометки в блокноте. Украдкой поглядывал на Маханькова, вокруг которого словно расходилось магнетическое поле страха. Многие свидетели, жертвы, даже подельники почему-то смотрели куда угодно, только не на него.

Раздражал Алексея, однако, не только страх. Досадно было за коллег-журналистов, которые потихоньку перемещались с одних скамеек, где сидели агенты ФБР, на другие – к небритой братве. Чутье им подсказывало, на какой стороне выгодней. Уже вместе с ними пили и закусывали в барах, брали авансы за «правильные» статьи и будущие книги, за вранье, за трусость.

Судебные репортажи Алексея становились всё злее. Он, что называется, включился на полную: брал интервью, публиковал раздобытые документы, относящиеся к делу, выступал на радио. Его статьи об этом процессе перепечатывали многие русские издания в

США и России, и даже – в переводе, с его согласия и с хорошими гонорарами – американские. Все это льстило, вдохновляло на новые журналистские подвиги...

Исчез один русский журналист. Его статьи были смелыми и дерзкими. И вдруг – молчание. Поползли слухи, что якобы его избили. Сломали ему пару ребер. Сейчас лежит в госпитале.

- За что ж его так?
- А шоб другим неповадно было.
- Чепуха. Он скрывается. ФБР взяло его на спецпрограмму.
- А что за программа?
- Вы разве не знаете? Изменяет ему внешность, выдадут новые документы и запрут в какую-нибудь дыру в Техасе. Станет фермером, бу-га-га!
- Фэбээрщики – отпетые мерзавцы.
- А в Москве, слышали, опять кого-то на тот свет.
- Не кого-то, а банкира.
- Туда ему и дорога...

xxx

Поздно вечером Алексей возвращался из редакции домой, в тишине гулко отзывались его шаги. Жесткий ветер сек лицо. В окнах домов горел свет. Там, за светлыми окнами, уютно, тепло. Через несколько дней к нему переедет Лиза, и в его доме тоже воцарятся покой и уют.

Скорей бы закончился этот проклятый суд. Еще недавно все эти воры и доны Алексея вовсе не интересовали. И неожиданно – задело.

Да, страшно. Противно. Но кто же тогда будет писать правду? Кто? Только один журналист из Москвы и он, Алексей, стараются писать об этом честно. Честно. Честь. Вот в чем дело, оказывается. Вот откуда смелость. Вот откуда презрение.

В кармане Алексей нащупал ключи. Вдруг остановился. На дороге, напротив его дома зажглись фары машины. Завелся мотор, бахнуло из выхлопной трубы. Машина, рванув с места, умчалась.

Алексей смотрел ей вслед – задние фары, быстро уменьшившись до размеров двух точек, свернули на повороте. Он разжал кулак с ключами, нахмурился. Ерунда, показалось. Мало ли машин останавливается на этой пустынной улочке.

xxx

Светло-бежевый и совершенно великолепный «олдсмобиль» – со стертым протектором колес и разбитым зеркалом заднего вида – стоял у бровки, на глухой, безлюдной улочке, и фары его были погашены. На заднем сиденье валялись инструменты, банки с краской и пакеты со шпаклевкой. Ровно десять минут назад двигатель был заглушен, печка выключена, и поскольку дверцы прилегали неплотно, морозный ветер быстро выдувал из салона теплый воздух.

– Мне баптисты предложили сделать визу на ПМЖ. Бесплатно. Нужно только ходить к ним на собрания и раздавать на улицах какие-то книжечки, – говорил Юра.

Он сидел справа от водителя, засунув по привычке руки в карманы кожаной куртки, застегнутой на молнию. Черная лыжная

шапочка, натянутая почти до самых бровей, плотно облегла идеально круглую голову Юры. Глаза его смотрели вдаль, сквозь лобовое стекло.

– Так в чем же дело? Делай визу у баптистов, – сказал Михаил.

– Не-а, у баптистов нельзя. Грех.

– А ты, гляжу, – ортодокс.

– У меня дед был священником. Его в тридцать седьмом репрессировали, сослали в Сибирь. Там и погиб.

– Мой дед тоже погиб в сталинском лагере.

Щелкнула зажигалка. Огонек на миг осветил два лица: Юрино – сосредоточенное, Михаила – недовольное. Еще бы! – второй вечер они торчат на этом отшибе, ждут какого-то Юриноного знакомого, с которым якобы нужно поговорить. И почему-то – обязательно в машине.

– Еще пятнадцать минут – и я покатыл, – Михаил раздраженно бросил зажигалку на панель.

– Мишаня, не нервничай. А здорово мы тогда с тобой в баньке попарились. Мне та шлюха такой классный массаж сделала, кх-кх...

Лобовое стекло мутнело и покрывалось каплями дождя. Слева вдоль улицы тянулась высокая ограда, за которой темнели надгробные плиты.

Михаил крепко затаился:

– Ладно, уже поздно. Поехали отсюда.

Он завел мотор. Нажал кнопку, и две черные резиновые щетки запрыгали перед глазами с неприятным вжиканьем.

Лобовое стекло стало исключительно чистым, и хорошо было видно, как в дальнем конце улицы появилась фигура какого-то молодого мужчины. Михаил прищурился. Что-то знакомое почудилось ему в этом мужчине...

Вдруг раздался громкий щелчок – это щелкнул снятый предохранитель пистолета в Юриных руках. Скрипнула дверца, куда-то юркнула, провалилась широкая Юрина спина. Через открытую дверцу в салон автомобиля ворвался ветер.

...«Хорошо, что надел туфли, а не ботинки. Хотя туфли промокают. Боже, о чем я думаю?!» Алексей рванулся было назад, к подземке, но вспомнил, что до остановки – целых три безлюдных квартала. Он отшвырнул в сторону сумку и ринулся вперед. Перебежав дорогу, оглянулся. Коренастый парень мчался за ним по тротуару волчьей побегой, сжимая что-то черное в поднятой руке.

– Стой, сука!

Впереди над пустой дорогой загорелся «красным» длинный ряд светофоров. Алексей помчался вдоль высокой ограды кладбища. Быстрее. Не оглядываться. Вон щит с расписанием, за ним – калитка. Он подбежал к калитке, рванул. Заперта!

Прогремел выстрел. Разорвав ночную тишину, долго таял в сыром зимнем воздухе.

Ухватившись за холодные скользкие прутья ограды, Алексей занес ногу и упер в замок. Нога соскользнула, что-то хрустнуло, кажется, рукав. Он вцепился снова, подтянулся. Наконец перелез.

– Стой, пидор!

Но крик раздался по ту – по ту! – сторону ограды. Алексей побежал между рядами могил. Где-то вдали – или ему почудилось? – грохотала железная калитка. Но его дыхание, слишком громкое и частое, мешало слышать.

Алексей свернул возле одной плиты, нырнул в глубину, черную и тесную. Падал еще не раз, натыкался на какие-то провисшие цепи,

больно ударялся о каменные столбики. Миновав еще один дремучий участок, замедлил бег. Впервые оглянулся.

Огромные плиты и кубки. Своды склепов. Он подошел к надгробному камню, достаточно широкому и высокому, чтобы за ним спрятаться. Долго стоял прислушиваясь. Случайно шевельнул ногой, и тишайший хруст гальки показался ему громовым.

Кажется, обошлось. Слава богу! Только сейчас он почувствовал боль в указательном пальце. Наверное, вывихнул.

«Дурной детектив. И зачем я ввязался в этот суд?! Зачем?! Правда. Кому она нужна? Нет никакой правды. Есть воровство, ложь, грязь. И такой дурак, как я».

Раздались глухие выхлопы. Алексей вздрогнул. Прислушался. Где-то вдали рычал мотор автомобиля. Рычание приближалось, и Алексей приник к плите.

Машина бешено мчалась, и почему-то так же бешено застучало сердце Алексея. Быстро и громко. Очень громко. Он даже испугался, что эти удары слышны далеко, у самой дороги.

И в тот момент, когда машина проезжала мимо, там, за оградой, вдруг что-то помутилось, перевернулось для Алексея. Какая-то страшная сила, навалившись, схватила мертвой хваткой и прижала его – к холодному камню, а его сердце – швырнула в другую сторону, туда, вслед удалявшемуся автомобилю.

Алексей обхватил плиту руками. Прижался к ней щекой. Перед глазами поплыли белые нежные облака. Эти облака, пронизывая ночной могильный мрак, исчезали за оградой, откуда струился свет...

Острая, раскаленная докрасна боль разбивала сердце. Сердце сжимали в железе, оно расплющивалось, из него брызгала теплая кровь

и текла по щекам, по рукам, по черной плите, где в граните была высечена надпись на древнееврейском.

Алексей прижался крепче. Плита была уже теплой и приятно грела ладони. Он понял, что нужно перелиться сейчас в эту теплоту, а грудь – пусть разрывается. Разбитыми, замерзшими пальцами он впился, вцарапался в какую-то высеченную букву. Колени его дрожали, ноги медленно сгибались...

xxx

Светло-бежевый «олдсмобиль» остановился на шумной улице.

– Ну и тачка у тебя. На такой только за детским питанием ездить, – сказал Юра, отворяя дверцу.

Они вошли в распахнутые двери ресторана.

– Погодь минутку, – Юра снял черную шапочку и, оставив Михаила в зеркальном холле, вошел в зал.

Там гремела музыка, и сверкали огни. На сцене плясали девушки в бикини. Мелкими шажками Юра приблизился к столику в глубине зала, за которым сидели несколько мужиков. Наклонился к одному из них, что-то зашептал на ухо. Тот закивал, затем сунул руку во внутренний карман своего пиджака, достал деньги и передал Юре.

– На, Мишаня, бери, честно заработанные, – сказал Юра, вернувшись, и протянул Михаилу несколько новеньких, аккуратно сложенных купюр. – Пять соток. Да ладно тебе, ну, припугнули мальчика. Не убили же. Он сам нарвался: присвоил чужие деньги и не хотел отдавать... Слушай, пошли накатим по граммульке и посмотрим стриптиз, а?

XXX

«Здравствуйтесь, дорогая о Господе сестра Мария! Извините, что так долго не писала Вам. Разные дела и заботы навалились на меня со всех сторон. Но это меня несколько не извиняет. Спасибо за приглашение приехать к Вам в гости, в монастырь. Может, весной, когда потеплеет.

Странно, виделись мы с Вами лишь однажды, а ниточка не рвется. Порой люди знакомы годами, видятся каждый день, а едва расстанутся, тут же забывают друг о друге. Я вот часто «прокручиваю» наш разговор во время перелета, вспоминаю Ваши слова о том, что каждый человек, в конце концов, находит то, что сокровенно ищет его сердце.

А у меня событие! Грандиозное! Я полюбила. Его зовут Алексей. Он очень хороший, умный, заботливый. Мы знакомы уже почти год. Честно признаться, он мне понравился с первого дня нашего знакомства, но я боялась опять обжечься и потому не давала воли своим чувствам. Но недавно поняла – хватит от себя прятаться.

Я уверена, что нам все по силам. Алеша станет писателем, он талантливый, его книги обязательно будут печатать в России, а может, переведут на английский и издадут здесь, в Америке. Представляете, в семье – два творческих человека! Моя мама шутит, что если в доме все художники, значит, посуду мыть будет некому.

Дорогая сестра Мария, как Вы там, на севере диком? Я слышала, что на севере штата Нью-Йорк, настоящие зимы, с вьюгами и буранами. Если Вам нужно теплое белье или одежда: чулки, шарфы,

платки, дайте знать, мне будет приятно Вам помочь. Может, нужны таблетки, травы? Многие американские лекарства здесь только по рецептам, но любые российские можно запросто купить с рук на Брайтоне.

Вот, пожалуй, и все. Вот мой новый адрес: ... Телефон: ...
Ваша Лиза».

Она сложила листок. По лицу вдруг скользнула тень сомнения: может, зря она написала о своей любви? Может, и монахиня Мария тоже когда-то любила? Перед глазами мелькнуло немолодое лицо в апостольнике, пальцы, перевитые четками... Во время перелета в самолете из Киева в Нью-Йорк они разговаривали о многом, но личного не касались. Сестра Мария лишь рассказала, что пятнадцать лет жила в Покровском монастыре в Киеве, потом по каким-то церковно-политическим причинам покинула монастырь и переехала в Америку.

Интересно, почему женщины уходят в монастырь? Причины, наверное, разные: одни – по духовному призванию, другие – из-за физических недугов, третьи – почему-то не вписались в светскую жизнь. А какова монашеская жизнь? Посты, молитвы, иногда до смерти душат слезы – так хочется вернуться в мир... Нет, для себя такой путь Лиза не выбрала бы никогда.

Она вложила между страницами письма двадцать долларов. Заклеила конверт и, скривившись от неприятного привкуса клея на языке, пошла переодеваться.

Зима, зима в Нью-Йорке. То снег, то сырость и слякоть.

Лиза шла по улице. Она – все такая же: резковатые движения, размашистые шаги. Но что-то новое в ней, если присмотреться. Какая-то легкость, смелость, раскованность. Весь строй ее жизни менялся настолько быстро, что Лиза, обычно привыкшая всему давать оценку, грызть себя по поводу и без, неожиданно очутилась в упоительном вихре. Пыталась остановиться, разобраться – и не могла. Как девчонка, ей-богу!

Вечерело. В окнах разноцветными веселыми огоньками зажигались елки. В заснеженных садиках возле домов волхвы окружали колыбель с Младенцем. После поворота, однако, антураж резко менялся, чудные рождественские садики исчезали. Слева от дороги уже тянулся ряд унылых двухэтажных домов с плоскими крышами, а справа – ограда старого еврейского кладбища.

До Алешиного дома оставался последний квартал. Вчера они не виделись – у Алеши был день сдачи газеты.

Она поднялась по ступенькам, достала из сумочки ключи. Отворила дверь квартиры Алексея... Внезапно какая-то сила втолкнула ее в комнату.

Два незнакомых мужика в кожаных куртках стояли у стены. Один – мордovorот с рыжей шевелюрой, другой – поменьше, невзрачный, с лицом кавказца.

Напротив них – Алексей, ссутулившийся, бледный.

Все посмотрели на Лизу. Ужас вломился в ее распахнутые глаза, в ее широко раскрытый рот.

– Привет, – сказал Алексей и подмигнул, но как-то вяло. – Понимаешь, некоторые неприятности. Это – из ФБР...

– Hello.

Лиза молча кивнула в ответ. Машинально стягивая шарф и расстегивая пальто, пыталась понять, о чем они говорят.

...– И как он выглядел? – спросил агент ФБР.

– Коротконогий. Широкоплечий. В куртке и спортивной шапочке. Лица его я не рассмотрел в темноте.

– Усы? Борода?

– Кажется, нет.

– Может, заметили тип лица: славянин, азиат, кавказец?

– Нет, не заметил. Он кричал по-русски, матом, кажется, без акцента.

– Мы опросили соседей – некоторые из них в четверть двенадцатого вечера слышали звук, похожий на пистолетный выстрел. Гильзу мы не нашли. Какой, вы говорите, автомобиль?

– «Олдсмобиль» старой модели. Цвет – серый. Или... нет, бежевый.

– Мы дежурили сегодня возле вашего дома несколько часов, никакой бежевый «олдсмобиль» здесь ни разу не проезжал.

– Может быть. Но он стоял здесь два вечера подряд.

Агенты почему-то переглянулись.

– Может, вы все-таки ошиблись? Может, в машине сидели наркоторговцы? Или проститутка обслуживала клиента? А вы своим появлением им помешали?

Алексей пожал плечами. Он устал. Он хотел спать.

– Значит, вы уверены, что причина вчерашнего инцидента – ваши статьи? Но какой смысл подсудимому устраивать покушения на журналиста?

– Не знаю.

Алексея разбирала досада. «И зачем только я позвонил в ФБР? Задают идиотские вопросы. Еще и ухмыляются. Наверное, подозревают, что вчерашние ночные погони – это мой вымысел или мои журналистские фокусы, с целью сделать рекламу газете. Но ведь вчера в самом деле кто-то стрелял мне в спину!»

– Дело в том, что мы относимся к манхэттенскому отделению, а вы живете в Бруклине, – неожиданно по-русски сказал кавказец, до сих пор молчавший. Алексей видел его несколько раз в судебном зале, но считал, что он – из братвы.

Кавказец продолжал:

– Мы занимаемся преступлениями на федеральном уровне, а вашим делом должна заниматься городская полиция. Мы распорядимся. Полиция будет круглосуточно патрулировать возле вашего дома, – в его руке запищала рация. – Телефон наш, в случае чего, вы знаете. Goodbye.

Хлопнула наружная дверь. Эти двое из ФБР ушли, но дух улицы – жестокой улицы Нью-Йорка, с убийствами, грабежами, проституцией – этот дух остался, разорвав, казалось, незыблемый уют в доме Алексея.

Зажигалка в его руке шелкнула, но не зажглась. Он бросил ее на стол и, когда сел, вспомнил, что даже не достал сигарету из пачки. Но ведь он же бросил курить. Да, решил бросить. Посмотрел на разбитый распухший палец.

Лиза стояла перед ним:

– Почему ты мне ничего не сказал?

– Ладно, Лиз. Может, я ошибся... – произнес он, приготовившись к последнему испытанию. Ничего он ей не скажет. Только бы поскорей закончить и этот разговор. Потому что нет у него сил. Сердце – ноет. Уже не разрывается, а тупо давит. Как будто, так и положено ему – всегда болеть. Завтра же, нет, в понедельник пойдет к врачу. Пусть делают любые тесты. И нужно купить медстраховку. Говорят, семейная стоит дешевле.

– Почему ты молчал? И что же случилось? И где ты ночевал?

– Все нормально, Лиз. Просто какая-то машина проехала мимо дома, мне показалось... А ночевал у родителей, – соврал он. (На самом деле ночью полуживой добрался к дому фотографа их газеты.)

Лиза стояла у окна к нему спиной. Смотрела в окно, на безлюдную темную улицу. В мареве за высокой оградой виднелись очертания могильных плит. А позади нее на стуле сидел человек. Ее родной, любимый человек. Голос у него – приглушенный, слова с трудом возникают и куда-то проваливаются. И лицо его – бледное, стеариновое.

Боже... Боже... Ведь это она во всем виновата. Погрязла в своих мелочных заботах, в своих «любишь – не любишь». Дура, верила ему, что в его статьях ничего опасного нет, мол, обычная работа газетчика.

Резко повернулась:

– Где сумка?

– Какая сумка?

– Обыкновенная. Мы сейчас сложим твои вещи и на пару недель переедем ко мне.

Алексей промолчал. Решение, в общем-то, разумное.

– Алеша. Алеша...

Она вдруг расплакалась:

– Ты хоть понимаешь? Ты хоть понимаешь, кто ты для меня?

Ведь у меня больше никого нет, никого. А ты...

В груди Алексея вдруг сладостно защемило, дышать стало легче. Словно плитку отвалили. Силы возвращались, по всему телу растекались теплые живительные струи. Потому что прекрасна в этот миг была Лиза, прекрасна в своих бабьих слезах. И плечи ее вздрагивали по-детски трогательно, и край длинного свитера едва не достигал ее коленей, и на новом ботике развязался шнурок.

– Ну что? Что ты улыбаешься? – сказала она обиженно, шагнув к нему.

Он ощутил слегка покалывающую шерсть ее свитера, ее пальцы в своих волосах, ее мягкие груди. Ее...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Пустынно было в комнате, где на полу у стены лежал матрас. На матрасе, под одеялом застыл Михаил. Иногда он открывал воспаленные глаза, и в воздухе как будто прыгали миллионы маслянистых капелек краски.

Раздался телефонный звонок. Рука Михаила, выпроставшись из-под одеяла, потянулась к телефонной трубке.

– Михась, это я. Спишь еще?

– Нет, – буркнул Михаил.

– Плохи дела. Карбюратор ни к черту.

– А-а... – Михаил подтянулся на локте. Узнал голос автомеханика и сквозь марево словно увидел свой «олдсмобиль» в мастерской. (Оставил там машину, чтобы проверили, почему так много расходуется бензина).

– И что же теперь? – спросил он.

– Нужно ставить новый карбюратор. Сто пятьдесят долларов. Но для тебя – сто двадцать.

Михаил засопел. Вчера понадобилось заменить свечи, сегодня – карбюратор. Что – завтра?

– Ладно, черт с ним, заменяй. Когда будет готово?

– Подходи через пару часов.

Михаил прислонил подушку к стене, включил телевизор, и в комнату ворвался Нью-Йорк, шумный, счастливый Нью-Йорк, озабоченный новогодними покупками: джипами, биржевыми акциями, путевками на Карибы.

Безразлично Михаил смотрел на экран. Все-таки правильно он поступил тогда в ресторане, отказавшись от пятисот долларов, предложенных Юрой. Потому что слишком грозно поглядывал из пяти овалов купюр Бенджамин Франклин, словно желая напомнить, что «тюрьма» по-английски – jail. А тюрьма – хоть, говорят, и комфортная, с сэндвичами и пепси-колой, с телевизором и компьютерами – даже такая замечательная тюрьма вовсе не входила в его планы. Поэтому Михаил вернул Юре все пять соток, и мудрый Бенджамин Франклин произнес из овала одобрительное: «О`кей».

...Ангел-хранитель или, может, случайное везение до сих пор спасали Михаила от тюрьмы. Он всегда чувствовал над собою чье-то оберегающее крыло. На волосок от тюрьмы он был, когда только

вернулся из армии. Гражданская жизнь представлялась тогда жестокой, с такими же волчьими законами, что и в солдатской казарме. Ну и, разумеется, свобода. Долгожданная свобода при очень примитивных представлениях о ней.

В кабаке они с другом Витькой избили одного мужичка. Точнее, бил Витька, а Михаил помог этого мужика вытащить из зала. Причина была пустяковая: из-за какой-то девки – она сначала танцевала с Витькой, что-то пообещала ему и вдруг закрутила с другим, похожим на упыря. Михаил держал двери пожарного выхода, а Витька безжалостно избивал упыря, применяя еще не забытые, хорошо отработанные в армии приемы десантника. Когда упырь рухнул, Витька сорвал с его руки часы «Роллекс» – Витька всегда питал слабость к дорогим вещцам. Они сбежали по лестнице и скрылись в яру, где знали все тропки-дорожки – в детстве там играли в «казаков-разбойников».

Под утро их из дому увезли в отделение милиции. Одиночные камеры. Избиения во время допросов. Оpoznания с понятыми. Михаила выпустили под расписку, а Витьку отвезли в СИЗО. Витькина мать поседела за несколько дней. Если бы их родители не предложили тому упырю и следователю ба-альшие деньги, то их с Витькой наверняка посадили бы. Но пострадавший и следователь деньги взяли, и групповое ограбление превратилось в обычное хулиганство, и все обошлось.

Нет, намеренно Михаил никогда не выбирал тюремные дороги. Но словно некая сила вела его опасными зигзагами. В паруса жизни дули ветры авантюризма. Ну и всегда был уверен в том, что все для него благополучно обойдется. Интуиция подскажет. Ангел уберезет.

...Он вышел из дома и направился к автомастерской. Сыпал мелкий снежок. Вид часто проезжающих полицейских машин почему-то смущал. «Все-таки ты правильно сделал, отказавшись от пятисот долларов», – шепнул ему в самое ухо Бенджамин Франклин.

XXX

– Все в порядке. Я заодно и масло в машине поменял, с тебя еще двадцать долларов, – сказал механик.

В мастерской на полу лежали шины, со стальных реек подъемников свисали цепи.

– Отличная тачка, еще будешь на ней ездить сто лет.

– Вот и хорошо, – Михаил взглянул на машину.

У машины вид, конечно, допотопный. Зато в просторный салон умещаются все инструменты и материалы. Не на горбу же их носить! К тому же за столь короткий срок Михаил успел прочувствовать эту громоздкую по нынешним меркам машину, свыкнуться с ее капризами. И движок отличный.

Он повернул ключ в замке зажигания. «Ж-ж-жух! Ту-тут-ту...» – запел мотор.

– Видишь, что нынче творится в Нью-Йорке, – сказал механик, пряча в карман спецовки взятые у Михаила деньги. – Понаехали сюда рэкетеры из России, свои порядки хотят завести. Уже и на журналистов покушаются.

– На каких журналистов? – спросил Михаил.

– Ты что, парень, газет не читаешь? Недавно бегали за одним, ночью по кладбищу. Даже стреляли в него. Теперь этим делом ФБР занимается.

– Фэбэ-э-эр?

Позвонки Михаила – все, до одного – покрылись инеем. Во рту пересохло.

Неожиданно механик резким движением вытащил из кармана спецовки металлическую бляху с выгравированным на ней номером. В другой его руке оказался пистолет:

– Вы арестованы!

Тут же с обеих сторон подскочили два полицейских, которые прятались за колоннами в гараже.

Стальные наручники впились в запястья Михаила.

– Вы обвиняетесь в соучастии в покушении на убийство! С вашим адвокатом вам будет позволено связаться в отделении полиции!

...– Парень, что с тобой? Ты о`кей? – спрашивал механик, недоуменно глядя на Михаила, который стоял ни жив, ни мертв.

– Все в порядке, просто немного голова побаливает после вчерашнего.

Так. Тот несчастный журналист, в которого стрелял Юра, его не видел. Сам Юра куда-то пропал. Улик – почти никаких. Нужно только избавиться от машины.

xxx

На одном из перекрестков стояли два латиноамериканца-нелегала, в надежде получить какую-нибудь случайную подработку.

– Эй, амиго. Хотите заработать? – спросил у них Михаил деловитым тоном.

– Si, señor (да, сеньор), – ответил, оживившись, один из них.

– Вот эту машину нужно уничтожить, – он кивнул в сторону своей неподалеку припаркованной машины. – Отгоните ее куда-нибудь подальше, чтобы никто не видел, и сожгите. Колеса, приемник, все что захотите, можете снять и продать. Номера с нее я сейчас сниму. За работу плачу двадцать баксов, устраивает?

2

Полдень 31 декабря выдался сказочным! Синоптики не обманули. Снег, выпавший ночью, не растаял, а затвердел на легком морозце. Солнечные лучи пробивались между небоскребами.

Засунув руки в карманы куртки, Михаил брел по Бродвею, разглядывая вывески банков и финансовых корпораций.

В даунтаун Манхэттена, где бьется финансовое сердце США, в последний день уходящего года вливались тысячи людей: жителей Нью-Йорка и туристов.

На небольшой площадке, вымощенной булыжником, стоял бронзовый бык – символ Уолл-стрит. Уперев передние ноги в брусчатку, разъяренный бычина, казалось, был готов поддеть рогами любого. Словно оводы, быка облепили туристы. Хлопали его по бронзовым бокам, кто-то пытался взобраться ему на голову. Многие подходили сзади и запускали руки между бычьих ног, чтобы потрогать блестящую от частых поглаживаний мошонку.

Михаил наблюдал за этой забавой. Он знал о биржевых торгах, о «черных» днях, когда миллионеры становятся нищими. Даже знал кое-что о таких тонкостях, как биржевая игра на «взлетах» и «падениях», и, если верно помнил, бык символизировал «взлет».

– Парень, ты можешь меня сфотографировать? – обратилась к нему какая-то девушка в полушубке. Дала фотоаппарат и решительно запустила свою ручку быку между ног.

Американская доярка, подумал Михаил, нажимая кнопку.

– Теперь мое будущее обеспечено, – весело сказала девушка.

– Почему?

– Ты разве не знаешь нью-йоркскую примету? Погладишь этому быку (тут она произнесла какое-то незнакомое английское слово) – разбогатеешь.

Михаил вернул фотоаппарат и грустно усмехнулся.

Разбогатеешь... Ему пока нужно купить машину, конечно же, подержанную, но не такую допотопную колымагу, как прежняя.

Придется опять затянуть пояс потуже.

Его ожидала новогодняя ночь – либо с семьей дяди Гриши, либо в одиночестве, в своей конуре. В холодильнике – бутылка водки «Абсолют», сыр, буженина. И никаких новогодних чудес.

Он присоединился к группе каких-то туристов. Прошли мимо огромной украшенной елки, потом вошли в какое-то здание, поднялись в лифте. Гид подвел группу к закрытым дверям. Возникла заминка – у дверей стоял полицейский, добродушно улыбался, но внутрь не пускал.

– Леди и джентльмены. Через час торги на бирже прекращаются, – сказал гид. – Но еще не поздно погладить бронзового быка на Уолл-стрит и купить свою последнюю в этом году акцию.

Стадо двинулось за гидом, и через пару минут лифт всех увез. Кроме Михаила. Любопытство оставило его здесь, на одном из этажей биржи. Он пошел по коридорам.

Здесь царило радостное оживление. Идущие по коридорам парни, его сверстники или чуть постарше, шумно переговариваясь, бросали друг в друга скомканными бумажками, хохотали, дурачились, как мальчишки. Ни чопорной важности, ни снобизма. И одеты обыкновенно: брюки, рубашки, а сверху – простецкие форменные куртки разных цветов.

Михаил попытался соединить свои представления о худосочных брокерах, которые во время биржевых обвалов в отчаянии выбрасываются из окон, с этими задорными крепкими парнями. Ну никак они не соединялись. Мозг на асфальте, смертельные прыжки из окон или с Бруклинского моста – все это страницы истории Америки, приукрашенные в фильмах и романах. Но сейчас здесь, в этих сверкающих коридорах, в этом задорном хохоте и взмахах крепких рук – торжествовали жизнь, напор, удача.

Все устремлялись к большим распахнутым дверям в какой-то зал. Брокеры прошли внутрь, а Михаилу преградил путь чернокожий охранник.

– Туда нельзя.

Недовольный, Михаил покосился на охранника, затем, вытянув шею, заглянул внутрь.

В громаднейшем, размером со стадион, зале происходило нечто непонятное. Там стоял неумолчный гул, сквозь который прорывались вопли, тысячи мужчин размахивали руками. Все стены там были завешаны электронными табло. На одной из стен висел огромный

экран с мелькающими кадрами: американские десантники с автоматами наперевес бежали по пустыне; под воду уходил танкер с нефтью; на скотобойне забивали коров...

– Через полчаса торги закончатся, – сказал охранник. – Ты откуда родом? Я – из Гаити, – ему было скучно. Он стоял, прислонившись спиной к дверям, кивал в ответ входящим и выходящим из зала брокерам.

Как ни странно, парни входили внутрь и покидали зал с добродушнейшим видом. Словно там – не биржа, а аттракцион. Среди них были и брокеры-евреи в ермолках. Встречались и девушки, правда, редко.

– Женщин здесь мало, работа очень тяжелая, – сказал негр, оторвав свои замутненные глаза от удалявшихся соблазнительных бедер.

– Что же в ней тяжелого?

– Весь день – под стрессом. В одну секунду можно заработать миллион долларов. И столько же потерять. Здесь, в здании, есть бассейны, массажные кабинеты, бары. Этим парням нужно периодически расслабляться, иначе можно сойти с ума.

– А что это за бумаги? – спросил Михаил, показав на пол, усыпанный тысячами разорванных бумажек.

Охранник на миг задумался:

– Мусор. Когда торги заканчиваются, его убирают. Знаешь, сколько здесь получает уборщик? Двадцать долларов в час! И ежеквартально – акций на три тысячи.

– Разреши мне войти внутрь, – перебил его Михаил, вскользь отметив, что этот охранник, конечно же, лучше знаком с работой уборщиков биржи, чем брокеров.

– Не положено.

Из зала уже никто не выходил. Всё новые брокеры вливались внутрь и мгновенно растворялись в орущем человеческом море.

– Сейчас начнется самое интересное. Последние десять минут до закрытия биржевых торгов в этом году! – негр указал на электронные часы. Он волновался. Он уже не подпирал лениво дверь, а стоял в проходе, слегка пританцовывая. – Хорошая последняя сделка – залог успеха на следующий год. Это примета биржи. Осталось девять минут... Восемь... О-о, Lord!..

Михаил достал из кармана десять долларов и незаметно сунул их охраннику:

– Впусти.

Через мгновение Михаил уже проталкивался между брокерами, пытаясь понять, что же они выкрикивают, зачем размахивают руками, что за бумажки рвут и вышвыривают.

Вряд ли он что-то понял тогда. Но был потрясен.

Вокруг многочисленных «чаш» сгрудились брокеры.

Беспреданно орали, деля пальцами какие-то знаки. Мчались к телефонам, срывали трубку, а то и сразу две, и, быстро о чем-то переговорив, отбегали к компьютерам. Сотни телефонных проводов тянулись через проходы. Парни что-то записывали на бумажки и, на ходу вешая телефонные трубки, снова неслись к «чашам».

Протискивались, вскидывали руки вверх. Five millions! No! Yes! Кто-то

пробирался к клеркам, втискивал им бланки, клерки пропускали эти бумажки через маленькие машинки, которые эти бланки штемпелевали.

Крик уплотнялся, густел. На огромном экране к американским бомбардировщикам подвешивали бомбы; где-то на Ближнем Востоке горели нефтяные скважины; вооруженные повстанцы в какой-то банановой республике захватывали президентский палаццо... Мировые штормы и бомбежки взрывали и сотрясали биржу Уолл-стрит.

Возле маленькой елочки в центре зала резвились детишки, приведенные папами. Взрослым до них сейчас не было никакого дела, что детей вполне устраивало. Они прыгали, запускали в воздух бумажных голубей.

А Михаил проталкивался, поднимая над головой длиннющие телефонные провода. Он бывал на стадионах. На парадах. На рок-концертах. Но там тупая толпа выплескивала эмоции. Здесь же шла война. И каждый сражался за себя. За свои доллары.

Ударил гонг. В воздух взлетели тысячи разорванных бумажек – несостоявшихся сделок. Из динамиков мужской голос поздравил всех с Новым годом. Пожелал счастья. Напомнил, что торги закончились, пора расходиться. Но еще долго слышались крики, парни еще срывали трубки телефонов, толпились у регистрационных машин. Сидели на полу, обхватив свои головы руками. Кто-то улыбался, у кого-то из глаз катились слезы, ценою, быть может, в миллион долларов за слезинку...

xxx

Побродив по коридорам, Михаил зашел в кафе. Заказав сэндвич, примостился там за столиком. Жевал сэндвич, хмурился.

Несправедливость, однако! Какой-то безграмотный негр здесь подметает пол и получает двадцать долларов в час. Плюс акции, медстраховка, отпуск. Уж не говоря о брокерах, которые в секунду проворачивают миллионы.

А что же он, Михаил? Проливает пот на стройках и получает всего десять долларов в час. И нет у него никаких акций, никаких отпусков. В их бригаде о бирже Уолл-стрит говорят, как о чем-то, существующем неведь где, на другом конце Земли. Кто-то читал статью в русской газете, кто-то слышал жуткую историю про брокера, покончившего с собой. Иммигрантские мифы! Перед глазами Михаила поплыли зашпаклеванные стены, банки с краской, короткие перекуры на опрокинутых ведрах... Жалкая, убогая жизнь! Мелкие интересы, мелочные заботы. Как будто непреодолимая пропасть пролегает между грохочущим Манхэттеном и затхлым мирком бруклинских маляров-иммигрантов.

Может, попробовать устроиться на биржу... уборщиком? Михаил хмыкнул, и две мрачные складки залегли в уголках его рта.

– Прекрасный сегодня день! – сказал молодой рыжеволосый мужчина в курточке брокера, сидящий с Михаилом за одним столиком.

– Да, отличный день, – согласился Михаил.

– Ты откуда родом? – спросил рыжий.

– Из Бруклина, – пошутил Михаил.

Собеседник оценил шутку.

– Мои предки тоже когда-то приехали из России в Нью-Йорк и осели в Бруклине. Моя кузина живет там до сих пор. Иногда приезжаю туда. Кругом синагоги, иешивы, все кошерное. Нищета, грязь, бедные

детишки пускают в лужах кораблики... азохун вэй, – закончил он на идиш и не без иронии сокрушенно покачал головой.

Они засмеялись, посмотрев друг другу в глаза. И как будто между ними возникло мгновенное взаимопонимание.

– Тебя как зовут?

– Майкл.

– А меня – Джеффри. У тебя, Майкл, отличный английский, – он отпил из стаканчика пепси.

Пальцы его были толстые и сильные, с отчищенными ногтями. Михаил вдруг представил, как эти пальцы напряженно, словно наэлектризованные, несколько часов подряд изгибаются, показывая специальные знаки.

– Тяжелая работа брокера. Я бы, наверное, не смог, – признался Михаил, польщенный комплиментом о своем английском.

– Да, работа нелегкая. Только мы – не брокеры. Мы – floor-traders – торгуем акциями в зале биржи.

– И долго нужно учиться, чтобы стать floor-trader?

– Нужно закончить Гарвардский университет, – рыжий засмеялся своей шутке.

Из кафе с шумом повалили парни в форменных куртках, окликнули рыжего, и тот что-то им ответил. Затем перевел нетерпеливый взгляд на Михаила:

– Стать floor-trader очень просто. Достаточно иметь обыкновенный школьный диплом и окончить специальные курсы. А главное – иметь что-то здесь, – он постучал пальцем по своему невысокому лбу. – Ладно, Майкл, мне пора. Кстати, наша фирма сейчас

набирает для обучения новую группу. Вот моя визитка. Позвони, – и, попрощавшись, ушел.

Михаил изучил визитку. «А может, и вправду? Может, это и есть путь к настоящей свободе, к деньгам?»

Он сунул визитку в карман, потрянул в воздухе кулаками:

– Е-э!..

Он слишком мало жил в Нью-Йорке и еще не знал, что такие случайные разговоры и визитки вовсе ни к чему не обязывают. Он даже не знал, что комплимент насчет «хорошего английского» – это тонкая издевка американца над иммигрантом.

Все это будет ему открываться постепенно, со временем, и пока было не столь важно. Сейчас было важно другое: он ощутил себя крохотной щепкой, очутившейся на краю могучего мирового водоворота, но чувство даже такой, иллюзорной приобщенности мгновенно вскружило голову.

xxx

Нью-Йоркская фондовая биржа тогда действительно чем-то напоминала гигантский водоворот. И бронзовый бык на Уолл-стрит даже в лютую зиму был теплым от бесконечных касаний и поглаживаний человеческих рук.

...А все началось с того, что одним ранним утром биржевой аналитик Джон Браун, известный в финансовом мире своей исключительной компетентностью и кристальной честностью, проходя мимо бронзового быка, вдруг остановился. Подошел к быку поближе.

Что-то новое заприметил он в этой скульптуре. Неподалеку от быка стоял скучающий негр-полицейский.

Джон Браун обошел быка со всех сторон. Заглянул в его бронзовые глаза. Подошел сзади и, подтянув штанины, присел. Внимательно рассмотрел бедра и огузок, затем задумчиво взгляделся в хвост. Пока он изучал скотину, негр-полицейский с любопытством следил за этим странным мистером в дорогом плаще.

– Bull! – наконец изрек Джон Браун, вставая. Похлопал быка по крупу и уверенно зашагал к зданию биржи.

Негр-полицейский недоуменно глядел ему вслед. Он не знал, что мистер Браун – известный биржевой аналитик, и потому решил, что этот – немного не в себе – господин произнес распространенное в Нью-Йорке ругательство «bull-shit», что в буквальном переводе означает «бычье дерьмо» и широко используется для выражения негативных оценок, характеристик, эмоций и т. д. Но, увы, негр-полицейский был неправ, вернее, не вполне прав, потому что мистер Джон Браун имел в виду совсем другое.

Через пару дней вышел очередной номер авторитетного журнала «Money» с аналитической статьей мистера Брауна:

«Мировой капитал ищет себе применение. После развала Советского Союза освободилось огромное экономическое пространство. Однако надежды мирового капитала не оправдались: инвестиции в постсоветскую зону носят слишком рискованный характер из-за неотрегулированности местных законодательств, отсутствия необходимой инфраструктуры и тотальной коррупции.

Америка сегодня – единственная в мире супердержава. Мы стоим на пороге новой, неслыханной по размаху технологической революции.

Компьютер и Интернет коренным образом изменят всю нашу жизнь, упразднят традиционные отрасли хозяйства. Америке принадлежит лидерство в этой сфере, потому что у нас собран научный цвет, и мы – единственные – имеем необходимую базу и ресурсы для того, чтобы эту революцию совершить.

Взрыв в области высоких технологий неизбежно привлечет к нам мировой капитал. Нью-йоркскую фондовую биржу ожидает неслыханный расцвет – «bull market». Наш добрый бронзовый старина bull уже грозно мычит. Я лично услышал это мычание сегодня утром.

Искренне ваш, биржевой аналитик Джон Браун».

Не доверять словам мистера Брауна не было никаких оснований. Ведь он закончил два университета из Лиги плюща, обладал всеми качествами грамотного экономиста и настоящего джентльмена.

...Сумасшествие в городе началось очень быстро. Нью-Йорк вообще отличается некоторой психической неустойчивостью, подвержен различным модным поветриям и эпидемиям.

Сумасшествие распространялось по двум направлениям – высокотехнологическому и биржевому. Две воронки расширились и углублялись, порою сливались, засасывая миллионы людей, их деньги, чаяния. Души.

Компьютеры появлялись везде и всюду: в магазинах, больницах, кафе, даже в уборных отелей и ресторанов. Вчерашние таксисты, парикмахеры, сапожники в считанные месяцы переучивались на программистов. Чтобы получить высокооплачиваемую работу, порою было достаточно знать, как включать компьютер.

А на нью-йоркскую фондовую биржу хлынул капитал со всего мира, и город быстро начал превращаться в мешок с деньгами.

Только последний глупец и лентяй не покупал акции. Ради акций люди расставались со сбережениями, накопленными за всю жизнь. В акциях выдавали часть зарплаты, переводили пенсионные и страховые фонды. Тот, кто не стал программистом, становился брокером. Бронзовый бык грохотал копытами о брусчатку Уолл-стрит.

В беспокойных глазах горожан заплясали биржевые графики. Темп жизни, и без того быстрый в Нью-Йорке, ускорился до невероятности. Нужно выбежать из подземки и позвонить брокеру, чтобы тот немедленно купил акции Microsoft. Срочно проверить, на сколько пунктов поднялись акции Dell. По дороге в офис не забыть посмотреть на электронное табло с бегущей строкой о котировках... Война на Балканах. Последнее открытие ученых. Смерть великого поэта. Ерунда. Сколько сегодня стоят акции IBM?

Любой труд обесценивался. Светлое будущее, казалось, почти наступило в отдельно взятой стране. В идеале светлое будущее выглядело так: каждый американец сидит у компьютера и непрерывно покупает по Интернету автомобили, мебель, одежду. И, разумеется, акции.

...И все-таки прав оказался не мистер Джон Браун, выпускник двух престижных университетов. Прав оказался тот негр-полицейский, посчитав, что бронзовый бык Уолл-стрит – это не только постоянный взлет – «bull market», но и, извините, – «bull-shit».

Пройдет несколько лет, и в Нью-Йорке появится очень много задумчивых людей. Они будут одиноко бродить по улицам, погруженные в свои думы. Как же так? И как же это меня угораздило? И что же теперь делать? Ай-яй-яй...

Компьютерная революция захлебнулась. Человек оказался неисправимым консерватором. Он по-прежнему хотел покупать вещи не только по Интернету, но и в магазине. Примерить плащик, перебрать с десятков блузок и не купить ни одной, пощупать пальцами шерсть свитера – есть в этом какое-то сокровенное мещанское удовольствие. Уж куда приятней, чем нажать кнопку на клавиатуре и ждать, пока этот свитер тебе привезут.

Ах, какие все-таки были надежды! Какие упования! Компьютер и Интернет обещали вытеснить и заменить почту, магазины, газеты, даже секс. Потеснили. Но не заменили. На почте по-прежнему очереди; магазины полны покупателей; газеты всё так же выходят и так же пачкают пальцы краской; в борделях появляются мрачные типы, предпочитая по старинке отвратительных проституток виртуальным красавицам.

Ладно бы человек с его дурацкими привычками и капризами. А что в экономике? В стране быстро хирели и вывозились за рубеж целые отрасли промышленности. Зато появились тысячи мелких интернетовских фирмочек, паразитировавших за счет биржи, где их акции непомерно росли и раздувались. Но все имеет свой предел.

Когда одна из таких фирм вдруг закрылась, объявив о банкротстве, в городских газетах появилась заметка про турецкого иммигранта, который повесился у себя дома. Оказалось, что он вложил в акции обанкротившейся фирмы все свои сбережения, до последнего цента. Бедняга намеревался скоро выйти на пенсию, купить дом во Флориде и уехать из этого адского города. Впрочем, судьба несчастного турка уже мало кого интересовала. Задача заключалась в следующем: срочно с минимальными потерями вытащить свои деньги

из этой чертовой биржи. Потому что ежедневно закрывались и объявляли о банкротстве десятки, сотни фирм, руководство которых загодя продавало собственные акции и оставляло своим вкладчикам бумажку, которая еще формально называлась акцией, но уже годилась лишь для вытирания бронзового зада быку на Уолл-стрит.

Следом за мелкими, начнут объявлять о банкротстве и крупные концерны с миллиардными оборотами, тоже процветавшие только за счет биржи.

Уволенные программисты и брокеры снова станут сапожниками, парикмахерами, таксистами. На каждом шагу будет звучать только слово «down» – вниз. Графики, котировки, индексы. Вниз. Сбережения, доходы. Вниз. Иллюзии, надежды. Вниз. Вниз. Вверх поползут только два графика – показатель безработицы и число пациентов с инфарктами.

В глазах горожан уже не будут прыгать цифры. В их потускневших глазах застынут справедливые, но наивные вопросы: почему? Почему биржа рухнула, ведь все было так прекрасно? Почему никого не наказывают? И почему на свободе эта скотина – мистер Джон Браун, который за свои лживые прогнозы брал взятки?!

Последуют судебные иски от обманутых вкладчиков. Несколько высокопоставленных администраторов концернов, уличенных в крупных мошенничествах с акциями, покончат с собой. В Конгрессе пройдут специальные слушания, будут проведены расследования. Кого-то оштрафуют, кому-то пригрозят. Чтобы замять скандалы и успокоить вкладчиков, посадят за решетку несколько вторых и третьих лиц.

Но святая святых – ЗОЛОТОЙ БЫК УОЛЛ-СТРИТ – выстоит. Его по-прежнему можно будет гладить. Холить. Боготворить. Чесать его мошонку. Нюхать его bull-shit. Каждому – свое.

xxx

Все эти интересные события еще впереди. И ни одна душа тогда не знала, чем закончится этот bull market.

Разумеется, не мог знать этого и Михаил. Он жил в Нью-Йорке меньше года, впервые побывал на бирже и, обнадеженный случайным знакомством с брокером, возвращался в свою плохо отапливаемую квартиру встречать Новый год.

Сыпал мелкий снежок. Тысячи жадных рук гладили бронзового быка. У площадки стоял негр-полицейский. Он улыбался и – в честь праздника – великодушно позволял сфотографироваться рядом с ним.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Горела машина. Ярким пламенем полыхала в сгустившемся сумраке. На небольшом пустыре, неподалеку от дома Алексея, каждый год сгорают машины. Номера с них заблаговременно сняты, как часто сняты и колеса, и различные механизмы. Зачем сжигают эти машины? Кто-то таким образом сводит счеты с недругом. Поджечь машину может и сам автовладелец, чтобы получить деньги от страховой компании. Или какой-нибудь шальной угонщик, поездив и прихватив все ценное в салоне, так замечает следы.

Алексей давно привык к этим картинам. Обычно проходил мимо, не останавливаясь. Но сейчас почему-то остановился.

Ярились багровые языки, в салоне на месте сгоревших сидений торчали изогнутые трубки. Воняло гарью и паленой резиной. Судя по большим размерам и грубым плоским формам, это был «олдсмобиль» старой модели.

Алексея пробрал какой-то мистический холод, диковатая улыбка вдруг заиграла на его лице. «Машина Михаила? Светло-бежевый и совершенно великолепный «олдсмобиль»?! Неужели Михаил – не мой вымысел, а реальный парень?»

Закурив, Алексей вглядывался в пламя, будто бы там был сокрыт ответ на эту великую загадку его судьбы.

Бросив недокуренную сигарету в горевший салон, направился к своему дому.

xxx

Елка не стояла в этом доме в новогоднюю ночь, потому что здесь в ту ночь было пусто. Они жили у Лизы, а Новый год отмечали у родителей Алексея. А в первую неделю января, когда возвратились, чтобы здесь жить и отныне вместе, Лиза украсила комнаты дождиком и шарами. Но праздники давно прошли, как-то буднично промелькнуло и Рождество, близился лютый февраль.

...Лиза, стоя на стуле, снимала дождик с окна.

– Алеша, ты? – оглянулась. – Представляешь, мне сегодня приснилось, будто я плыву по Венеции на гондоле, и почему-то с

бутылкой водки в руке. Я даже рассмеялась во сне... Ты был у врача?

– Нет, не успел.

Спустившись со стула на пол, подошла к нему:

– Ну почему ты такой упрямый?

– Лиз, я вправду здоров, как бык, – сказал, уходя в другую комнату. Услышал за спиной шлепки ее тапочек на полу. Понял: допроса не избежать. – У меня обычное переутомление. Нужно побольше отдыхать, расслабляться. В общем, так: весной беру отпуск и едем в Италию. Устроим себе медовый месяц.

– Хорошо, поедem в Италию. Но сначала тебе нужно пойти к врачу и обследоваться. Ведь у тебя недавно был сердечный приступ. Или уже забыл? Может, у тебя забиты сердечные сосуды? Или тахикардия?

– Ну-у, Лиз, ты просто профессор кардиологии, тебе бы в мединституте студентам лекции читать.

– Перестань надо мной издеваться. Думаешь, я ничего не понимаю?

– Ну почему же.

– Алеша, милый, давай плюнем на все и купим тебе медстраховку.

– Медстраховка, положим, тоже еще не гарантия. Лиз, у меня и вправду все нормально.

– Нормально? А нитроглицерин? Я утром наводила порядок в тумбочке и нашла там три бутылочки с таблетками. И в мусорном ведре сегодня валялась одна, уже пустая. Я прочитала инструкцию, там говорится, что... – вдруг осеклась.

Алексей метнул на нее недобрый взгляд. Ему уже смертельно надоели все эти дозы, тесты, клапаны. Неужели она не понимает, что все это – ерунда? И, черт возьми, что за слезка? Он помнит, как бывшая жена раздражала его своими уборками и чистками, вечно обнаруживая что-то новенькое в ящиках его письменного стола или в его карманах.

– А больше ты ничего не нашла в ведре?

– Больше – ничего, – Лиза резко встала. Почувствовала, что ее лицо покрывается красными пятнами. Она следит за порядком, старается, хочет, чтобы в доме был уют. Снился ей этот уют! И что – она здесь не хозяйка?!

Алексей посмотрел ей вслед. Гм... Однако долго он жил холостяком. Привык. Пора отвыкать.

Лиза стояла у окна. Пятна обиды еще пылали на ее щеках. Видела, как на пустыре горит какая-то машина. Ногтем соскребла со стекла кусочек засохшей белой краски: «Да, посмотрела его альбом с фотографиями. Ну и что? Красивая у него была жена, спору нет. Только шея – как у гусыни, и ноги – как две кривые щепки, с сучками. К тому же дура».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Длился, длился суд над Станиславом Николаевичем Маханьковым. Конца-краю не было допросам, свидетельствам, слухам.

...– Они прокололись, – говорил уголовного вида небритый мужичок, горделиво-презрительно поглядывая на прокуроров и агентов

ФБР. – Они не знают русского обычая – выручать друзей из беды. У нас хватит денег на любых американских адвокатов.

И действительно, три очень дорогих адвоката уже четвертый месяц морочили головы бедным присяжным. Присяжные пытались вырваться на волю. Один из них заявил судье, что ночью к нему кто-то позвонил по телефону и «нес бред с чисто русским акцентом». Дама-присяжная пожаловалась, что в метро к ней попытался прижаться пьяный мужчина якобы «славянского типа». Мулат-присяжный признался, что его сосед по дому – русский, часто колотит свою жену, и это может повлиять на представление мулата обо всех русских и, следовательно, на вердикт.

Судья всех терпеливо выслушивал, но никого от исполнения почетной должности присяжного не освобождал.

Врали жертвы, свидетели, адвокаты. Одни – спасая свою шкуру, другие – ради денег.

В этом зале суда не врал только один человек – вор в законе, криминальный авторитет Станислав Николаевич Маханьков. Пользуясь правом, гарантированным американской Конституцией, он вообще не собирался давать никаких показаний.

xxx

Сидя в зале суда, Алексей с затаенной ненавистью поглядывал на подсудимого, уже считая Маханькова своим личным врагом. Жаждал всей душой, чтобы Маханькова посадили. Чтобы упекли его в тюрьму пожизненно и послежизненно.

Между тем, обстановка в судебном зале сложилась самая, что ни есть, доброжелательная. За это время все свыклись с распорядком, успели перезнакомиться между собой. Откуда-то стало известно, что прокурор по субботам ходит в Метрополитен музей с какой-то пригожей мисс; знали, что у одного из агентов ФБР, который арестовал Маханькова, намечена помолвка, и помолвка почему-то связана с окончанием этого суда. Одного адвоката поздравляли с днем рождения и прокуроры, и журналисты, и братва: «Congratulations! Всех вам благ, господин адвокат! Мазл тов!» Задушевно так, по-семейному...

А газеты в Нью-Йорке и в далекой Москве в связи с этим судом писали о каких-то загадочных темных силах. Темные силы – в Кремле и в Белом доме, в ФБР и в ФСБ. Темные силы что-то раздувают, кому-то подыгрывают, ведут какие-то темные игры.

На девяносто девятый день стало ясно, что:

на этом суде не звучало и не прозвучит ни единого слова правды, ни из чьих уст;

что слушания эти могут длиться вечно, вернее, до тех пор, пока у подсудимого не иссякнут деньги на оплату адвокатов;

что деньги у него не иссякнут никогда.

И тогда судья, надув щеки, хлопнул ладонями по столу.

Поднялся черной колонной и произнес:

– Леди и джентльмены, уважаемые присяжные! Думаю, вы получили достаточно информации, чтобы разобраться в этом деле. Пора выносить вердикт. Перед тем как вы пойдете совещаться, позвольте мне разъяснить вам, что в современной американской юриспруденции называется рэкетом.

Через полчаса юридически просвещенные присяжные гуськом
направились в особую комнату – совещаться.

.....

...Коридоры второго этажа гудели. Тон задавала братва – и откуда вдруг взялось столько русских бандитов в здании Федерального криминального суда США?! Настрой у них был боевой. Были уверены, что Маханькова сейчас оправдают. «Сегодня предстоит крутой гудеж, столы в кабаках в Нью-Йорке и Москве уже накрыты». То ли правда были так уверены, то ли куражились. Понимали, что от этого вердикта зависит не только судьба одного вора в законе, но и гораздо большее – состоится ли триумфальное шествие российского криминала по американской земле. И если да, то работой на ближайшее время они обеспечены. Гремели в коридорах возгласы, гогот, мат.

Алексей пристально приглядывался к каждому. Один из бандюков был очень похож на парня, который стрелял в него тогда ночью...

– Ты чего такой хмурый? – вполголоса спросил Алексея московский журналист, писавший об этом суде смелые статьи.

– Да так, очень поздно лег, не выспался, – ответил Алексей.

Они стояли в проходе у стены. Братва презрительно косилась в их сторону.

– Сегодня узнал, что Маханьков в следственной тюрьме за это время разорвал рот сокамернику и подрался с надзирателем. Он – зверь, – сказал московский журналист. – Знаешь, почему он ненавидит журналистов, таких как мы с тобой?

– Почему?

– Очень просто: мы своими статьями подрываем его репутацию. Прикинь: он – вор в законе, авторитет, идол воровского мира, в зоне за одно кривое слово людям хребты ломал. А мы с тобой называем его грязной крысой из тюремного барака. Если его сейчас оправдают, нам с тобой...

– Кранты! Присяжные добазарились, – пронеслось по коридорам, и толпа хлынула в зал.

Все заняли свои места – подсудимый, прокуроры. Из особой комнаты в зал вошли присяжные. Староста – седоволосый мужчина – взял лист с приговором. Все в зале поднялись. Старались не дышать, чтобы расслышать только одно слово, только одно...

– Станислав Маханьков? – спросил секретарь.

Господи, посади этого гада...

– Виновен.

Ах!..

Через несколько секунд из боковой двери вышли крепкие мужчины в штатском и окружили сидящего Маханькова. Братва повскакивала с мест.

Станислав Николаевич совершенно спокойно откинулся на спинку стула. Приподняв очки в позолоченной оправе, окинул взглядом зал. Щека его, покрытая аккуратной щетинкой, сильно дернулась. Он неспешно сложил свои бумаги на столе. Со стороны могло показаться, что это профессор Гарвардского университета закончил читать студентам лекцию и собирается покинуть аудиторию.

– Стасик, мы этим сукам отомстим! Мы этих гнид уроем!

Маханьков грустно улыбнулся. Поднялся и в сопровождении охраны направился к двери.

– Стасик! Дед! Николаич! Любимый! Родной!..

Проходя мимо стола, где восседали торжествующие прокуроры и два сотрудника ФБР, Маханьков остановился. Вдруг сжался в комок, свирепо оскалился и, костеря прокуроров отборнейшей бранью, рванул к столу. Что-то загремело, со стола полетели бумаги, наушники. Замелькали чьи-то лица, пиджаки. Братва, робко переглядываясь, заметалась по залу.

– Мочи их, сук! Дед, мы с тобой!..

Его прижали щетиной к полу. Наверное, заломили руки за спину, Алексей этого не видел – мешали сдвинутый стол и фигуры охранников. Подняли и без пиджака, без очков, зато в наручниках поволокли к дверям. Под разорванной рубашкой виднелись упругие бицепсы, в татуировках.

– Что он кричал? – выяснили у русских журналистов американские коллеги, когда дверь за Маханьковым захлопнулась.

– Как бы вам объяснить? Классическая русская брань. Не переводится.

– Напишите, – не унимались американцы и подсовывали блокноты, в которых русские услужливо писали английскими буквами: «Blyadi! Pidarasty! Wyblyadki!»

– Американские фашисты мучают русских людей! – возмущалась братва.

– Это несправедливо, позор Америке, – говорили на всякий случай всё еще перепуганные русские бизнесмены.

– Присяжные ничего не поняли. Мой подзащитный – узник совести, как Солженицын или Щаранский... – мямлил потускневший адвокат, заработавший на деле Маханькова два миллиона долларов.

Алексея, впрочем, эти мелочи не интересовали. Он позвонил в редакцию, продиктовал по телефону заметку (успел до выхода номера) и вскоре сидел в баре с московским журналистом. Пили коньяк.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Серый свет пасмурного утра проникал в комнату. Лиза еще лежала в постели. Просматривала газету, улыбалась чему-то своему, мечтала. В тепле и уюте, под мягким одеялом, мечты и желания у женщин развиваются неспешно, но простираются далеко.

Конечно же, ей хотелось многого. Чтобы приехала в Нью-Йорк мама. Чтобы у Алеши не болело сердце. Чтобы поскорее разрешился вопрос с ее документами, и они съездили в Италию. За этими маячили тьмы иных насущных задач и желаний: купить новое постельное белье, новую посуду... А если Бог им подарит ребенка – будет ли на Земле женщина счастливее, чем она?

Счастьем, ровно и спокойно, светились ее глаза. Да, ее семейная жизнь с Алешей началась с некоторым криминально-медицинским уклоном. Но ведь часто бывает так: люди встречаются, женятся, все у них поначалу благополучно, а потом – склоки, ссоры, измены. У них же с Алешей все будет иначе.

Алеше вот, предложили вести передачу на радио «Свобода», заказали статью в американском журнале. Его звезда восходит...

– А-а-а!..

Лиза вскочила с кровати и в белой пижаме, бурей рванулась в соседнюю комнату.

Алексей сидел на стуле, склонившись. Мутными глазами смотрел перед собой, где на столе лежали исписанные листы. Красная ручка – на полу.

– Алеша... Ты же обещал, что не будешь прикасаться к роману, пока не отдохнешь. Этот проклятый роман убьет тебя! – она схватила со стола стеклянную трубочку, открутила металлическую крышечку.

– Где же?! Где?! – била ею по пустой ладони.

Метнулась в другую комнату, где в шкафу между фотоальбомами еще недавно лежала трубочка нитроглицерина.

Алексей с трудом проглотил слюну. Холод пошел по его левой руке. В соседней комнате гремели ящики. «Нет там ни черта, все таблетки закончились. И новые не купил».

– Лиз, набери «911». Пусть приедут.

Лиза – белым пятном – в прихожую. Ее голос оттуда, русские и английские слова вперемешку:

– Боль в груди. Адрес? Street? Что? What?

Она помогла ему дойти до дивана.

– «Скорая» сейчас приедет. Родной, потерпи...

Лицо его заблестело испариной:

– Лиз, а тебе идет белое. Тебе в белом хорошо. Никогда не носи черное.

Она отвела волосы от лица:

– Хорошо, хорошо. Погладить? Так легче?

– Да. Все будет нор... – вдруг замер и раскрыл широко рот – какая-то темная сила наваливалась ему на грудь... Женщина в черной рясе. Черная машина. Снега, снега...

– Что? Алеша, что?

.....

– Mister Alek-ksey?

Два мужчины в синих комбинезонах вошли в квартиру, заскрипел паркет под их грузными шагами. Один из них – негр средних лет, поставил на стул металлический чемоданчик; другой – парень лет двадцати двух, распахнул рубашку на груди больного. Закатал ему рукав и померил давление.

– Вы переносили операции на сердце? Что чувствуете? Тошноту? Головокружение? По десятибалльной системе как оцениваете свою боль?

– Восемь.

– Сожмите руку в кулак.

Что-то кольнуло в левую руку – игла вошла в вену.

– Нитроглицерин – в вену, – распорядился негр-парамедик.

Лиза вбежала в комнату. Сбросив пижаму, натянула джинсы и свитер. Когда надевала носок, прыгала на одной ноге, долго не могла попасть в него пальцами.

Остановилась перед иконой архангела Михаила: «Господи, я отдам Тебе все. Мне ничего не нужно. Я больше не буду просить у Тебя ничего. Никогда. Клянусь. Только оставь ему жизнь».

– Ну что, легче? – спросил парамедик.

– Да, немного, – ответил Алексей.

Запищала рация.

– Госпиталь? Это бригада парамедиков. Сейчас вам доставим больного. Похоже, инфаркт.

– Мы должны отвезти его в госпиталь. Вы кем ему приходитесь?
– спросил парамедик у Лизы.

– Женой.

– Тогда поедете с нами, – и пошел за носилками.

Негр распечатал упаковку шприца, воткнул иголку в ответвление капельницы и выдавил туда все содержимое.

– Морфий. Парень, сейчас тебе станет еще легче. Почувствуешь себя так, будто выиграл миллион долларов в Атлантик-сити, – пошутил он. Глаза его, однако, не улыбались.

...Над головой Алексея слегка раскачивалась на крюке бутылка с нитроглицерином. Зеленые линии на мониторе ползли и надламывались, раздавалось равномерное «пиу-пиу».

– Имя? Фамилия? Дата рождения? Какая у него медстраховка? – спрашивал у Лизы парамедик, все записывая в бланк.

Они сидели в фургоне машины, на низенькой скамеечке, рядом с Алексеем. Этот парамедик, похоже, был новичком: дома суетился, а сейчас, когда ситуация более или менее под контролем, обрел уверенность.

– У вашего мужа нет медстраховки? Не проблема. В госпиталь его примут и так. Рассчитаетесь потом.

– Стив, как он? – спросил негр из кабины водителя.

– Все о`кей, – бодро ответил парень.

– Лиз, ты опять в черном. А обещала... Шубу мы тебе в этом году так и не купили, – промолвил Алексей.

– Еще купим, – Лиза гладила его руку. Не хотела смотреть на его открытую грудь, облепленную наклейками с проводами.

– Родителям пока не говори. Я сам им потом скажу... Так я свой роман и не закончил. Жаль. Когда-нибудь ты обязательно встретишь

мужчину по имени Михаил. Расскажи ему про меня. Мне с ним встретиться не удалось.

Он прикрыл глаза. От кончиков пальцев по рукам и ногам опять пошел холод. Мощная лавина снова обрушивалась на него. Он должен выдержать еще раз. Должен выдержать.

Страшный грохот.

...И белый снег. Хлопья мягкие, тихие. И Алексей с Лизой – вдвоем. Идут по старому еврейскому кладбищу. Снеговые шапки лежат на склепах, на кубках скорби. И Лиза – белая и светлая. И Алексей – белый и светлый. И новая земля. И новое небо. Боже, как не страшно умирать...

В мониторе вдруг пронзительно запищало. Зеленые линии бешено запрыгали на экране.

– Рик! Проблема! – закричал парень-парамедик.

– Shock him! – распорядился негр.

Парень переключил рычаг. Случайно выдернул провод, долго возился, пока воткнул штекер обратно в гнездо. Нажал кнопку и в аппарате раздался резкий свист.

– Shock!

Алексея вдруг подбросило на носилках. Тело, перехваченное ремнями, судорожно изогнулось и стало медленно опускаться.

– Алеша! Алеша!..

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Опустилось боковое стекло, из салона вылетела скомканная пачка «Мальборо». Упала на дорогу и вскоре скрылась под снегом.

Горели фары впереди стоящей машины. Уже второй час перед ним – все та же машина. И за это время проползли... Михаил взглянул на спидометр – всего лишь две мили. Этак не доберешься домой и до утра! В радиоприемнике диктор сообщал, что почти все шоссе засыпаны, власти предпринимают все меры.

Михаил пригладил короткие волосы, зачесанные назад (ничего не осталось от тех его озорных вихров). Может, поехать окольными дорогами? В маленьких городках дороги наверняка расчистят скорее.

Неделя, что он провел на спортивной базе в горах, не помогла. Он катался на лыжах, не позволял себе ни глотка спиртного. Было все: шуршал комбинезон, ветер обжигал щеки, из-под лыж вылетал жесткий свист. А на третий день Михаил, хоть и заплатил вперед, за лыжами не пошел и на горке не показался. Оставшиеся дни валялся в кровати, спал, тупо смотрел телевизор.

Дело было даже не в физической усталости. Тело можно восстановить в короткое время. Ведь прежде ему хватало нескольких дней отдыха во Флориде, чтобы вернуться в форму, а потом снова войти в зал биржи и драться. Но сейчас он был не просто утомлен. Он был полностью подорван. Разорен. Выброшен на улицу. К счастью, не посажен в тюрьму. Не в наркологической лечебнице, как многие из его «золотой» команды. Но в сорок лет чувствовал себя развалиной, немощным стариком, выработанным до последней клеточки тела, мозга, души.

XXX

Джеффри Шед, тот рыжий Джефф, не обманул. Привел и показал Михаила менеджеру их фирмы. Состоялось короткое интервью, ему задавали самые общие вопросы. На биржу Уолл-стрит тогда потек капитал из России, открывались, правда, смутно, новые возможности и перспективы, и Михаил пришелся фирме ко двору.

Три дня в неделю он вкалывал на стройке, чтобы заработать на жизнь, остальное время учился. Однокурсники в группе его тихо презирали. За акцент. За то, что плебей, нищий. В лицо, правда, никто ему этого не говорил. Но он отлично понимал, что означают неприглашения на ленч и на party. Впрочем, на экзаменах они списывали у него с большой охотой.

Окончил годичные курсы, получил сертификат «floor-trader», но сначала работал как обычный бас-бой (мальчик на побегушках) у Джеффа: следил за котировками на экране и, когда нужные цифры менялись, мчался к Джеффу, докладывал и опять бежал к мониторам; относил и передавал из рук в руки какие-то пакеты так, чтобы никто не увидел; в конце сумасшедшей недели вытаскивал из обоих шкафчиков десятки потных рубашек – своих и Джеффа, и сдавал их в прачечную.

Потом ему выдали куртку со вшитой на спине сеточкой – для «вентиляции», вручили значок с его номером и биржевым прозвищем Russ и выпустили в зал биржи.

За все время работы на бирже Михаил так и не понял, становится ли он богаче или погружается в пучину долгов. Потому что нужно было соответствовать новым стандартам: квартира – не в Бруклине, а в Манхэттене; машина – не хуже «лексуса»; одежда – обязательно из дорогого бутика. Однажды по старой привычке он купил на улице бублик с сыром и стакан кофе. Джефф случайно заметил и потом

стыдил за «нищенские замашки»: «Откуда ты родом? Из еврейского местечка? Почему не купил кофе в «Старбаксе»? Пожалел еще пару долларов?» Деньги утекали сквозь пальцы – на ночные клубы, бары, прогулки на кораблях непонятно с кем и непонятно на что. Порой в этой беготне и круговерти Михаила посещало странное ощущение, что он проживает чью-то чужую жизнь, а не свою собственную. Не раз пытался что-то изменить, но все продолжалось по-прежнему, помимо его воли.

Приходилось постоянно залезать в долги, подражать, всего себя перекраивать «под американца», перенимать чужие привычки, жесты, мимику. Больше всего его раздражала необходимость постоянно улыбаться – боссам, коллегам, барменам, всем кому ни попадя. Дурацкая вымученная улыбка не сползала с его лица.

...На углу Уолл-стрит и Бродвея есть бар «Империял». Бокал пива и пицца там стоят двадцать баксов, а сигару за сто долларов покупать не обязательно. В уютном зале этого бара Михаил – по поручению Джеффа – встретился с менеджером конкурирующей финансовой группы и в совершенно пустом разговоре сказал ему, что их фирма завтра будет сбрасывать акции N.

Через неделю после этого разговора на банковском счету Михаила появилось ровно сто тысяч долларов. Такой фокус они проделали еще раз, и на его счету появилось еще сто тысяч.

А потом его вызвали в просторный кабинет, где на стене в позолоченной раме висел портрет Бенджамина Франклина. Разговор с инспектором по спецнадзору длился три часа. Михаилу задавали весьма резонные вопросы. Показали документы с его подписью, где он обязывался не разглашать внутреннюю информацию их фирмы.

Сообщили, сколько вкладчиков из-за него лишились своих вкладов. Какие расходы понесла фирма. Также напомнили о существовании федеральной комиссии по биржевому надзору и о статьях Уголовного кодекса. И мудрый Бенджамин Франклин из позолоченной рамы сердито качал головой, снова и снова повторяя, что тюрьма по-английски – jail.

Конечно, Михаил мог сослаться на Джеффа, который втравил его в эту авантюру и наверняка заработал гораздо больше. Но это не имело смысла – Джефф и инспектор были друзьями детства, виллы их родителей стояли по соседству.

Михаила лишили сертификата и выбросили на улицу, конфисковав все деньги на его банковских счетах. С ним обошлись так гуманно – не посадили в тюрьму – лишь потому, что фирма не хотела компрометировать свое имя. Впрочем, его бы вышвырнули в любом случае: на бирже начался обвал. О банкротстве едва ли не каждый день объявляли корпоративные гиганты и мелкие фирмы, их акции лопались, и такое большое количество брокеров уже никому не было нужно.

Он подписал все обязательства, сдал пропуск, ключи. В баре, куда зашел напоследок выпить коньяка, его заметил Джефф. Похлопал по плечу: «Майкл, ты – отличный парень, с тобой было приятно работать. Но, понимаешь, жизнь – сложная штука. Желаю удачи».

Что у него осталось после всего? Машина, десять тысяч долларов, которые он чудом спас, сумев перевести их на банковский счет дяди Гриши. И куча долгов. Он отказался от дорогой квартиры в Манхэттене и снова перебрался в Бруклин, сняв крохотную квартирку в старом доме.

Шесть лет назад он вкалывал на стройке, малярничал, не боялся физической работы. Были силы, воля. Помогала отцовская закваска. Все это растрчено. У него сегодня – в сорок лет – практически нет настоящей специальности. Нет хороших связей – с ним искали знакомства и поддерживали отношения лишь до тех пор, пока он был полезен, работая на бирже. Единственным в этой стране преданным ему человеком остался дядя Гриша – обещает похлопотать, устроить в бригаду маляров...

Трудно было поверить, что этот высокий, хорошо сложенный, на вид – уверенный в себе мужчина, в действительности сейчас был растерянным и окончательно выбитым из колеи. Он цеплялся за внешние старые повадки и манеры, улыбался в разговоре, был вежлив, но все это было лишь фасадом, маской, скрывающей лицо отчаявшегося человека. В последние недели смутно, помимо его воли, его даже стала посещать мысль о самоубийстве...

xxx

Машины впереди снова остановились. От красных фар, то вспыхивающих, то гаснущих, болели глаза. Михаил злобно выругался, ударил по рулю. Нервы его были разболтаны до предела. Ему опять захотелось напиться и завалиться спать.

Он съехал с шоссе и покатил по «проселочной» дороге. Вокруг – невысокие домишки, разбитые трактора на заснеженных лугах. Во всем сквозит бедность, скудость. Глубинка «имперского» штата Нью-Йорк.

– Вот наказание!

Дорогу перегородила снегоуборочная машина, возле которой работали мужчины в комбинезонах.

Михаил пошарил по карманам и, не найдя сигарет, вышел из машины и попросил у рабочих закурить.

– Такого бурана в наших краях не было лет пятнадцать, – сказал бородатый здоровяк, протягивая ему пачку.

Гремели молотки. Рабочие набивали на шины новые хомуты для цепей.

Михаил сделал пару затяжек, отошел в сторону. Присмотрелся. Впереди, метрах в двадцати, темнела фигура человека. Из-за снежной пелены сложно было распознать, кто – мужчина или женщина – лопатой разгребает сугробы. Вот поскользнулся и упал.

– Ні, – сказал Михаил, подойдя. – Do you need help? (Вам нужна помощь?)

– No... по... – ответила она не очень решительно.

– Do you speak Russian? – спросил он, почти уверенный, какой родной язык у незнакомки.

– Да, я говорю по-русски.

Одета она была во все черное: грубое пальто, длинная юбка. Непонятно: американская глубинка, убогие фермы, и вдруг – русская. Жена какого-то фермера, что ли?

– Я в церкви чистила подсвечники перед праздниками. Днем снег сыпал слабо, хотя и обещали буран. Я решила, что успею все сделать быстро. Вышла из церкви, а тут такое... Хорошо, что отец Лавр дал лопату. Он бы мне помог, но он болеет.

Все это она рассказывала, стоя чуть позади, а Михаил тем временем расчищал в сугробах путь к нескольким двухэтажным домам, в которых светились окна.

– Здесь что, есть русская церковь?

– Да. Здесь когда-то жила колония русских иммигрантов. Многие старики поумирали, дети разъехались, а церковь осталась. Может, вы отдохнете? – спросила она виновато.

Он вытер рукавом вспотевший лоб. Интересно, какое у нее лицо? Нос, кажется, с небольшой горбинкой. Тонкие губы. Глаз почти не видно под отворотом шапочки.

– Вы здесь живете? – спросил он.

– Да. У нас здесь – сестричество, монашеская община.

Надо же – русские монахини на севере штата Нью-Йорк! И еще: в его представлении русские монахи и монахини – угрюмые, нелюдимые, старые. И вдруг... эта женщина – молодая, красивая, улыбчивая. Что-то трогательное в ее простых словах. Что-то беззащитное в ее жестах.

Заурчало, загудело – разметая лопастями снег, поехала уборочная машина. Они оба повернулись спинами к дороге, наклонившись, прикрыли головы от летящих на них снежных комьев.

– Настоящий обстрел. Но мы выжили, – пошутил он.

Она засмеялась.

– Вас как зовут? – спросил он, решив, что не уедет отсюда, пока не поможет ей.

– Сестра Мария.

– А меня Михаил. Вы откуда родом?

– Из Киева.

– Надо же, земляки. То-то слышу знакомый говор.

Они уже продвинулись на треть, снег здесь был уже не такой глубокий, расчищать стало легче. Но Михаил зачем-то старался прорубить дорогу пошире и расчистить до самого асфальта.

– А мне этот буран нравится, – сказала она. – И знаете, почему? Потому что он нарушает заведенный порядок жизни. Напоминает человеку, что от него не все зависит, что на всё Воля Божья.

Он остановился, удивленный ее словами: в снежном буране увидеть Волю Божью?

А она, подобрав подол юбки, сделала несколько шагов к кусту. Сорвала пару веточек:

– Это калина. Хотите попробовать? – и передала ему веточку с красными ягодами.

Ягоды были кисловатые, терпкие, с мягкими косточками.

И почему-то захотелось ему, чтобы она опять, утопая по колено в снегу, так же по-бабьи подобрав подол своей длинной юбки (есть в этом движении что-то волнующее), пошла к этому кусту...

– Вот и прорыли тоннель.

Они стояли у дома, дверь которого была закрыта.

– Спасибо, – она ступила на крыльцо. Замерла в нерешительности. – Подождите минутку. Мне нужно кое-что спросить у старшей сестры, – и скрылась за дверью.

Расчистка снега его хорошенько разогрела и взбодрила.

...Тишина. Вокруг ели, редкий кустарник. Наклонившись, он выковырял пальцем комки снега, забившегося в сапоги.

На втором этаже вдруг погасло окно. Михаил вздохнул. Все. Пора домой. Сделал доброе дело. Бог зачтет. Хмыкнув, нахлобучил шапку на глаза. Но почему-то не уходил.

Скрипнула дверь.

– Входите. Старшая сестра разрешила. Да входите же!

В просторной прихожей у стены стоял старый буфет, на вешалке висели женские пальто. Обстановка здесь чем-то напоминала дачную, если бы не иконы на стенах и не разложенные на столах коробки с крестиками и свечами.

– У вас, наверное, ноги промокли? – спросила она. – Вот тапочки. А сапоги поставьте к батарее.

Тапочки были огромного размера, растоптанные, старые. Вообще, бедность здесь сквозила во всем.

– Красивая икона. Это кто на ней? – он подошел поближе, взгляделся в небольшую икону на стене.

– Архангел Михаил, предводитель небесного воинства. Вам нравится? – она стояла рядом и тоже смотрела на икону.

– Да, – он почему-то боялся шевельнуться.

– Это икона моей бабушки... Хотите супа? Горячего? – спросила она после недолгого молчания.

.....

– Познакомьтесь, это – моя мама: Раиса Ароновна.

– Очень приятно.

Перед ним стояла неприглядная женщина преклонных лет, в светлой шерстяной кофте. Достаточно ей было улыбнуться и протянуть пухловатую руку, чтобы стало ясно: Раиса Ароновна – женщина очень милая, добродушная.

И вот, на столе – тарелка ароматных щей и краюха хлеба.

– Мама думала, что я осталась у отца Лавра. Она не знала, что я решила прорываться сквозь буран. Если бы узнала, что я одна, с лопатой. Она бы подняла на ноги весь штат. Вам наши щи нравятся?

– Да, очень.

За окнами мело, мело. За окнами – ветер, мгла. А здесь – свет, тишина. У батареи сохнут его мокрые сапоги, на столе – тарелка горячего супа. И рядом с ним – две прекрасные женщины, мать и дочь. Семья... Совсем он отвык от этого.

– Ваши родители живут с вами, в Нью-Йорке? – спросила Раиса Ароновна – в этой глуши она явно соскучилась по гостям.

– Нет, мои родители живут в Израиле. Так получилось: я здесь, они там.

– Передают, что в Израиле опять неспокойно. Ох-ох, а когда евреям было хорошо? Вы кто по специальности?

– Биржевой брокер. На бирже, знаете, сейчас обвал: скандалы, увольнения, – сказал он и запнулся.

Возникла неловкая пауза.

– Хотите еще супа? Тогда горячего чайку? – Раиса Ароновна, забрав пустую тарелку, вышла.

– Мама, ты справишься сама? – сестра Мария посмотрела вслед матери. Затем пригладила свои волосы под платком. Лицо ее вдруг посерьезнело. – Что-то в мире изменилось. Все опять хотят воевать. И евреи обязательно окажутся в центре кровавых событий. Так было всегда в истории. Так предсказано и в Апокалипсисе.

Михаил внимательно присмотрелся к ней. Еще минуту назад она казалась ему такой простой. Но простота вдруг исчезла, и эта женщина скрылась куда-то, в область, для него неведомую.

– Трудно вам, еврейке, в русском монастыре? – спросил он.

– Нет. Отец Лавр говорит, что православный еврей – дважды избранный Богом.

– Когда-то я читал рассказ, не помню, какого писателя. Там описывалось, как отец – ортодоксальный еврей, оплакивает свою дочь, принявшую христианство. Оплакивает по всем иудейским обрядам: неделю сидит дома, посыпает свою голову пеплом и читает Кадиш – поминальную молитву по умершей. Помню, мне тогда стало жутко – отец как бы хоронит живую дочь только потому, что она стала христианкой!

– Да-да. Это – страшно. Это мировая трагедия – евреи, отвергнувшие Христа! Я сейчас читаю об этом много разной литературы, пытаюсь разобраться и понять, почему же такое случилось. Но, боюсь, что человеческий разум ответ на этот вопрос дать не может.

Раиса Ароновна вошла, тихо поставила на стол стаканы с чаем. Села, слушала дочь.

– А на бытовом уровне, конечно, еврею в православии непросто. Вот, к примеру, у нас есть одна русская прихожанка, живет неподалеку отсюда. Ее сын погиб от наркомании. Она теперь много жертвует на нашу церковь. Но она – антисемитка: недавно стояла к причастию и, указывая на меня, говорила соседке: «Пропусти вперед эту богоизбранную жидовочку». А я по чину должна была причащаться перед ней, потому что я – монахиня, а она – мирянка. А вечером в мою

келью постучал отец Лавр, опустился передо мной на колени и попросил прощения. Представляете, старый священник на коленях просил у меня прощения. Говорил, что он – духовник той антисемитки и что он виноват, если она такая.

– Лиза, может, Михаил тебе поможет переставить стол? Чтобы ты свою спину не напрягала? – спросила Раиса Ароновна у дочери.

XXX

«Что же со мной происходит?» Лиза шла по коридору, впереди Михаила. Пальцы ее нервно перебирали четки. «Но ведь ничего особенного. Мужчина? Да. Но он помог мне разгрести снег и добраться до дома. Устал, промок. Старшая сестра разрешила его ненадолго впустить. Какие у него длинные ресницы. Такие же, как и... Нет, он совершенно другой. Алексей был утонченным, ранимым, страдающим. А этот – грубоватый, холодный, самоуверенный. Но почему-то ранняя седина в его волосах. И какой-то несчастный...»

Она знала, что Михаил, идущий сзади, сейчас смотрит на нее. Ее пальцы стали еще быстрее перебирать четки: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Она ожидала, что молитва придаст ей душевной крепости. «Но если я сейчас скажу ему, что мне его помощь не нужна, то буду выглядеть очень глупо. Он тогда подумает, что я имела какие-то тайные помыслы на его счет. А мне ведь бояться нечего. Я дала клятву Богу, я обручена Небесному Жениху, и никакие мужчины мне не нужны».

Она смелее пошла вперед. Поднявшись по лестнице, подошла к небольшому столу, взялась за его край:

– Вот этот.

– Я сам его понесу. А вы показывайте дорогу, – сказал Михаил, поднимая стол.

Пройдя, они очутились в каком-то коридорчике, отгороженном от залы книжными полками.

– Давайте сюда. Осторожней. Ну что же вы! – она прикрикнула, когда Михаил случайно задел одну из полок.

– Sorry.

– Это вы извините... Вот здесь, ставьте. Сейчас я эту полку чуточку отодвину. Вот так. Спасибо вам.

Платок съехал с ее головы, приоткрывая густые черные волосы.

Затем, пододвинув стул к столу, она села. Все уже было сделано, и можно было спуститься на первый этаж. И проститься с этим случайным гостем.

Но она зачем-то стала перекладывать кисточки. Для нее уже не оставалось сомнений в том, что ждет ее сегодня ночью: будет лежать на кровати в своей келье, врывшись в горячую простыню, будет жалеть себя и проклинать свою судьбу, захочет вернуться в мир. И все ей будет казаться бессмысленным – и молитвы, и посты, и службы. И страшная мысль, что Богу все безразлично, что Ему нет никакого дела до ее жизни, будет терзать ее сердце...

У-у! – завывал ветер за окном.

– Знаете, жить в монастыре очень трудно. Многие считают, если человек стал монахом, то он уже ангел. А это совсем не так, – с этими словами она поднялась. Стала напротив него.

И вдруг, отклонившись назад, едва не вскрикнула: в нем – незнакомом и таком чужом, ей привиделось что-то невыразимо

близкое, родное. «Эти длинные ресницы, и пыливый, глубокий взгляд, и всё, всё!».

Михаил даже не помнил, кто кого обнял первым – он ее или она его? Он стал осыпать поцелуями ее лицо, шею...

Она едва не упала, когда Михаил неожиданно оттолкнул ее от себя. Метнул на нее перепуганно-мрачный взгляд:

– Я приду к вам завтра, – и быстро вышел.

Загремели по лестнице его сапоги.

xxx

Утром, расплатившись с хозяйкой мотеля, он вышел на улицу. Завел свой черный «лексус» и поехал. У развилки его машина однако на шоссе не свернула.

Зачем он шел к этому дому? Если бы кто-нибудь спросил его об этом, вряд ли он смог бы ответить. Даже не знал, что скажет, если она сейчас откроет ему дверь.

Над запертой дверью на ветру покачивался фонарь. Михаил позвонил.

– Чем могу вам помочь? – в дверях показалась немолодая женщина в черной рясе. Лицо ее – неприветливое.

– Можно видеть сестру Марию?

– Нет. Сестра Мария занята.

– Мне очень нужно.

– Езжайте-ка, молодой человек, домой. У вас там, в Нью-Йорке, много важных дел – вклады, акции, банкротства. Не искушайте. Вам

лишь бы поамурничать. А ей потом, бедняжке... Поезжайте, с Богом, – и захлопнула дверь.

Михаил снова нажал кнопку звонка. Лицо его помрачнело.

Точно так же хрустел снег под его сапогами, когда он шел обратно. Ветер больно сек лицо, трепал воротник куртки.

Сел в машину, закурил. А чего он ожидал? – что она выйдет навстречу и снова пригласит его на тарелку щей? На богословскую беседу? Снова поведет его в комнату на втором этаже?

Что же случилось вчера? Почему он повел себя так глупо, не по-мужски? Ну, ладно, положим, понимал, что только волею случая он оказался вчера с этой отчаянной женщиной в укромной комнатке, один на один. Понятно, что эта Лиза-Мария, в какую бы рясу ни рядилась, все равно остается женщиной со своими женскими желаниями.

Но почему же он оттолкнул ее? Сказать по правде, он... испугался. Да, испугался чего-то, сам не знает, чего. В какой-то миг, это длилось лишь миг, как вспышка молнии, осознал, что, если воспользуется ею, то совершит величайшее зло. Такое зло, по сравнению с которым все его прежние авантюры, юношеские драки и погони, связи с замужними женщинами и проститутками в банях и ночных барах, мошенничества на бирже – все это покажется детскими шалостями. Он не сожалел, был даже рад тому, что нашел в себе силы оттолкнуть ее.

Он погасил сигарету. Все, пора ехать. И выбросить из головы это случайное приключение. Машина тронулась с места, немного проехала, но опять остановилась.

А почему, собственно, он должен уезжать? Его ведь никто не гонит. Да, перед ним захлопнули дверь. Не беда, он не гордый. У него

есть время. Он никуда не торопится. Он может переночевать в мотеле еще и не одну ночь. Кто, кроме дяди Гриши, ждет его в Нью-Йорке? Он с ужасом подумал о том, что в Нью-Йорке его опять начнут преследовать мрачные мысли о самоубийстве... Снова потянулся к пачке сигарет.

Так прошло несколько часов. Машина чернела одиноким недвижимым пятном среди белого застывшего моря.

Михаил то впадал в тоску, то строил самые радужные планы. Быть может, это шанс для них обоих? Быть может, судьба специально устроила им эту встречу? И в этом буране, в самом деле, – проявление Воли Божьей? Квартира у него, пусть скромная, но есть. Он найдет работу, переучится, совершит все возможное и невозможное ради того, чтобы сделать Лизу счастливой. Она – именно та женщина, которая нужна ему, нужна, как воздух!

Он подолгу всматривался в тот невысокий дом, ближний к дороге из трех домов. Несколько раз – или ему мерещилось? – в окне мелькала знакомая фигура. И тогда сердце Михаила билось гулко и часто, но фигура исчезала.

Дверь отворилась. На крыльцо вышла низенькая женщина, в темном пальто и вязаном берете. Поежившись, засемила к дороге.

– Здравствуйте, – сказал он тихо, чтобы Раиса Ароновна не расслышала дрожь в его голосе.

Они стояли возле почтового ящика, из которого выглядывала связка газет.

– Здравствуй, – Раиса Ароновна вытащила почту. Казалось, что она прячет от него глаза. Лицо ее сегодня было унылым и безнадежно старым.

– Я бы хотел увидеться с Лизой. Это очень важно.

– Понимаешь... Ей очень плохо сегодня. В прошлом году у нее уже был срыв: часто плакала, неделями молчала, голодала. С трудом пришла в себя. Потом как будто все пошло на лад. Я уже думала, что все, больше не повторится. И вот – опять начинается, опять ее сердце мечется. Ты тут ни при чем, – она недолго помолчала. – Когда-то, во время войны, моя мать спаслась в монастыре. Не знаю, спасется ли в монастыре моя дочка.

– Но почему она здесь?

– Она любила одного мужчину. Он умер от разрыва сердца.

– А-а... Но ведь жизнь продолжается, ведь нельзя же...

– Конечно, нельзя. Но такой она человек – все или ничего.

– Может, она не имеет права отсюда уйти? Она кому-то чем-то обязана?

– Да-да, обязана. Монахини, когда принимают постриг, дают обет верности Богу. А больше их никто не держит. Это же – монастырь, не тюрьма. Ты вчера рассказывал о том, что читал в книге об отце, который оплакивал, как умершую, свою живую дочь-христианку. Если бы ты знал, сколько слез я пролила, узнав о ее решении стать монахиней! Плакала день и ночь, не переставая. Ох-ох, дочка. И я умереть спокойно не могу. Как же ее оставить одну?

xxx

Ближе к вечеру из тех домов стали выходить монахини. На фоне белого снега были хорошо видны их черные одежды. Одну старую монахиню вела другая, помоложе, поддерживая ее под руку. Старушка

едва ступала, волоча по узкой протоптанной тропинке свои дряхлые ноги.

Михаил видел, как, наконец, из дверей другого дома появилась Лиза: поправив на плечах серую телогрейку, пошла следом за остальными. Все они исчезали в дверях невысокой церкви под зеленым куполом.

Михаил стоял в раздумье. Наконец, затянув молнию своей зимней куртки, неспешно пошел в ту церковь. Понял, что это для него единственная возможность увидеть Лизу и, если удастся, поговорить с ней. В конце концов, никаких плохих намерений у него нет. Если его оттуда попросят – он уйдет.

В храме пахло хвоей и воском. Старенький, седоволосый священник ходил по храму неестественно твердой для его возраста походкой, размахивая кадилом. Произносил вполголоса молитвы в свои седые, жидкие усы. На миг священник бросил на вошедшего Михаила любопытный взгляд. Но, не останавливаясь, продолжал кадить.

Мерцали лампы у икон. Несколько монахинь сидели на скамейках у стен, склонив головы. Если бы не их редкое покачивание головами, то можно было бы подумать, что они спят.

А на клиросе, возле иконостаса, стояли две монахини. Свет настольной лампы лился на лежащие перед ними раскрытые книги на пюпитрах. Одна из монахинь – низкорослая, кажется, это она сегодня утром закрыла перед носом Михаила дверь. Вторая – Лиза. Они обе стояли рядышком, читали по открытым книгам, поочередно. Изредка напевали, причем голос другой монахини был низким, густым, заглушал тонкий голос Лизы.

Хмурясь, Михаил стоял в полутемном углу, смотрел то на Распятие, перед которым горели свечи, то на Лизу, читающую молитвы, то на иконы. Припомнил Киев, Софийский собор, Печерскую Лавру. И... церквушку, которая находилась неподалеку от их дома. Чудом та церквушка пережила все лихолетья и уцелела. Там был небольшой церковный двор с высокими кленами. И какие-то бессменные старушки в темных одеждах. Иногда Михаил с друзьями заходил в ту церковь, любопытства ради.

Однажды, помнится, весной, в воскресенье утром, будучи еще ребенком, он гулял с друзьями неподалеку от дома. Солнышко уже всходило, а туман еще не рассеялся. И странным видением в этом тумане прошли старушки в белых платках, несущие из той церкви корзинки с горящими свечами. Михаил тогда не знал, что за диво такое, с чего вдруг идут эти старушки в такую рань, и с зажженными свечами. Но у него возникло странное ощущение, что в той маленькой церкви ночью случилось какое-то великое событие, и эти сморщенные старушки, всегда в черных платках и грубых юбках и кофтах, сейчас напоминали невест, убранных, как в фату, в белый туман... Это была Пасха.

А еще в той церкви отпевали Витькиного отца – дядю Колю. Михаил очень любил дядю Колю: он брал их с Витькой на ночную рыбалку на Днепр, учил их плавать, играл с ними в футбол. Дядя Коля сгорел от рака, буквально за год, когда Михаилу и Витьке исполнилось по шестнадцать лет. Его гроб сначала стоял во дворе на табуретках. Потом под музыку полупьяного оркестра этот гроб повезли не как обычно – сразу на кладбище, а сначала в ту старую церковь. Михаил

тогда не знал, что гроб и смерть тоже имеют какое-то отношение к церкви.

В церкви что? Там облупленные стены, там печальный старик-Бог в потрескавшемся куполе, среди ангелов, тоже старых, осыпавшихся. И дядя Коля – в центре церкви, с иконой на груди. Священник ходил вокруг гроба, кадил, бормотал в бороду «...во спасение души усопшего раба Божия Николая...» Отец Михаила всплакнул. Его мама, Витька, Витькина мама – все плакали, старушки вздыхали, осеняя себя крестным знаменем.

Михаил тогда полюбил какой-то новой любовью и своих родителей, и Витьку, и этих старушек. Почувствовал их всех в себе, себя – частью их...

Припомнив все это, Михаил подошел к небольшому столику у входа, где лежали картонные коробки со свечами. Взял одну из свечей, зажег ее и поставил в подсвечник. Грустно и как-то спокойно стало на его душе. Почему-то он припомнил и одного еврейского мальчика по имени Илюшка, из детского дома. Когда Михаил учился в институте, на третьем курсе, они с несколькими студентами ходили в один детский дом проводить детей-сирот. Михаилу там приглянулся худенький еврейский мальчик лет пяти, с очень большими и очень умными глазами. Михаил даже ненароком стал подумывать о том, не усыновить ли Илюшку, вернее, не забрать ли его жить в их семью. Повел об этом разговор со своими родителями. Но потом все как-то завертелось в жизни – друзья, сессии, дачи, и про Илюшку он забыл. И, наверное, так никогда бы и не вспомнил...

И о своих родителях тоже как-то забыл. Изредка звонит им в Израиль – лишь бы поставить «галочку». За семь лет ездил к ним, в Израиль, лишь два раза. Все было некогда, дела.

А ведь родители не вечны. И никто не вечен на этой Земле. Мы все уйдем куда-то, и никто не узнает о том, что мы жили когда-то. А зачем мы жили? Для кого?..

Михаил смотрел то на колышущийся огонек зажженной свечи, то на Лизу, читающую своим чистым голосом молитвы. Лампа ярко освещала ее лицо, обрамленное черной тканью платка. Она изредка поправляла свои волосы. Ее глаза горели, и ее лицо тоже словно начинало сиять изнутри неким сиянием, а губы повторяли что-то красивое, трагичное, о нашей любви к Богу и Божьей любви к нам... Она читала до того самозабвенно, что, казалось, в этих словах заключена вся ее жизнь, и от того, как она их произнесет, будет зависеть, услышит ли ее Бог, – ее молитву о себе, о маме, о том погибшем мужчине, которого она любила, обо всех живых и всех мертвых...

.....

– Подождите! Не уходите!

Она бежала к нему по снегу. Михаил, повернувшись, замер. Не верил, что это правда. Не верил своим глазам.

На Лизе была легкая, полураспахнутая шубка, ботинки и элегантная алая шапочка со сдвинутым набок козырьком. Лиза вся искрилась серебристой пылью, сверкало ожерелье на ее оголенной шее. Легкая, подвижная, она бежала к нему по узкой тропинке. Наклонившись, подхватила снег, слепила снежок и шутя бросила в

него. Засмеялась звонко и понеслась дальше, туда, где могучие ели у дороги возносили к небу свои роскошные кроны.

– Ах, так?! – Михаил тоже слепил снежок, шутя бросил в убегающую Лизу и помчался следом за ней.

Оглянувшись, она побежала еще быстрее. В сиянии месяца и звезд искрилась ее шубка. Михаил мчался за ней, сейчас вот-вот догонит ее, подхватит на руки и понесет – в Нью-Йорк, в их счастливое будущее...

– Вы... Вы мужчина, настоящий мужчина. Я знаю, чувствую, что вам сейчас очень трудно, – перед ним стояла уставшая после бессонной ночи, трудов и молитв, монахиня в черном, грубом одеянии. Она сделала еще один шаг, судорожно схватила его руки и прижала к своей груди. – Простите меня за вчерашнее, мне почудилось... Это очень странно, даже таинственно. Мой муж был писателем, одного из его героев звали Михаилом. Этот герой был очень похож на вас, словно один и тот же человек. Оказывается, все это не вымысел, а происходило в действительности!.. – она выпустила его руки и отступила назад. – Я буду молиться за вас всю свою жизнь. Прощайте.

И через минуту исчезла в дверях церкви.

А Михаил, постояв, медленно пошел к своей машине.

Неожиданно ему на сердце сошла какая-то таинственная печаль, такая, какой он никогда не испытывал до сих пор. Печаль о Боге? Или о любви? Или о чем-то вечном, незыблемом, что выше всех наших слов?..

Только бы не забыть эту светлую таинственную печаль. Только бы сохранить ее.

Перед тем, как сесть в машину, Михаил зачем-то поднял глаза к небу, втянул в себя крепкий морозный воздух.